Л. Троцкий

Дело было в Испании

круг


ИЗДАТЕЛЬ
СТВО
КРУГ

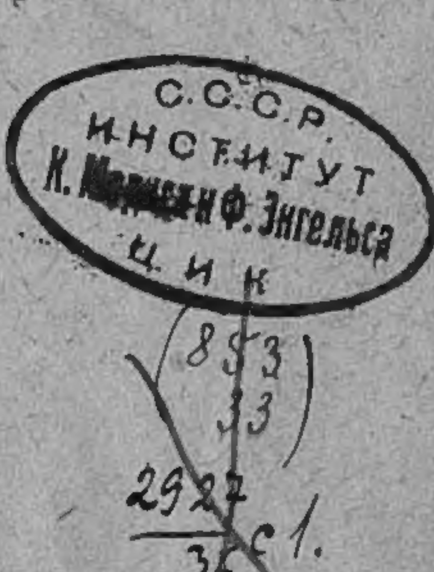


Л. ТРОЦКИЙ

ДЕЛО БЫЛО В ИСПАНИИ

(ПО ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ)

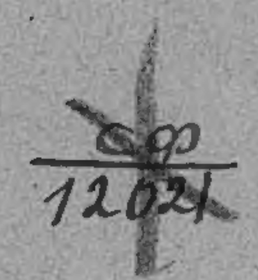
Рисунки худ. К. РОТОВА



АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
„КРУГ“
1926

НАБРАНО И ОТПЕЧАТАНО
В ШКОЛЕ ФЗУ ПРИ ПЕРВОЙ
ОБРАЗЦОВОЙ ТИПОГРАФИИ
ГОСИЗДАТА, ПЯТНИЦКАЯ, 71.

ГЛАВЛИТ 59295.
ТИРАЖ 10.000 экз.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

В этой книжке приведены в порядок — весьма, впрочем, относительный — записи дневника за короткое время, проведенное мною на испанском „этапе“. Появление этой книжки в свет вызвано инициативой и настойчивостью А. К. Воронского, — на него, следовательно, ложится и ответственность.

Л. Т.



I.

Два полицейских инспектора дожидались у меня на квартире. Один небольшого роста, почти старик, с плоским русским носом, Акимыч, только повежливее и потоньше,— другой — огромный, лысый, лет 45, черный, как смоль. Штатское платье сидело на обоих нескладно, и когда они отвечали, то брали рукою под невидимый козырек.

Чрезвычайная вкрадчивая вежливость старца „Vous nous faciliterez la tache“ — „Вы нам облегчите задачу“ (то-есть не будете оказывать сопротивления). А в обмен на это: „мы не передадим вас испанской полиции“. Поворачиваясь к жене: „Madame может завтра же явиться к префекту“ (чтоб получить возможность ехать вслед).

Когда я прощался с друзьями и семьей, полицейские архи-вежливо спрятались за дверь. Внизу у автомобиля два сыщика, все те же. Инспектора взяли вещи и понесли. Выходя, старший несколько раз снимал шляпу. „Excusez, madame“.

Шпик, неутомимо и злобно преследовавший меня в течение двух месяцев, дружелюбно на этот раз

поправил плед и закрыл двери автомобиля, и мы поехали.

Скорый поезд. Купэ третьего класса. Устроились и познакомились поближе. Старший инспектор — географ. Томск, Иркутск, Казань, Новгород, нижегородская ярмарка... Говорит по-испански, знает страну. Второй, черный и высокий, долго молчал и сидел в стороне. Но потом развернулся. „Латинская раса топчется на месте, другие ее обходят“ — заявил он неожиданно, строгая ножом кусок свинины, которую держал в не очень чистой волосатой руке с тяжелыми перстнями.— „Что вы имеете в литературе? Упадок во всем. В философии то же самое. Со времени Декарта и Паскаля нет движения... Латинская раса топчется на месте“. Я изумленно ждал продолжения. Но он замолчал и стал жевать сало с булкой.— „У вас был недавно Толстой, но Ибсен нам понятнее Толстого“. И опять замолчал.

Старик, уязвленный этим взрывом учености, стал выяснять значение Сибирской железной дороги. Затем, дополняя и в то же время смягчая пессимистическое заключение своего коллеги, прибавил: „Да, у нас есть недостаток инициативы. Все стремятся в чиновники. Это печально, но отрицать нельзя“. Я слушал обоих покорно и не без интереса.

За окном стояла ночь, глядеть было некуда спать от возбуждения еще не хотелось, и это питало беседу. Она свернула на мою высылку и на слежку за мной в Париже. Оба инспектора знали о ней подробно от моих шпиков. Эта тема их зажгла.

Слежка? О, теперь это невозможная вещь. Слежка тогда действительна, когда ее не видно, не правда ли? Но с нынешними путями сообщения это недостижимо. Нужно сказать прямо: метро убивает слежку. Тем, за кем следят, следовало бы предписать: не садитесь в метро,—тогда только слежка возможна. И черный мрачно засмеялся. Старик, смягчая: „часто мы следим,—увы,—сами не зная почему".

— Мы, полицейские,—скептики,—снова неожиданно заявил черный.—Вы имеете свои идеи. Мы же охраняем то, что существует. Возьмите Великую Революцию. Какое движение идей. Энциклопедисты, Жан-Жак, Вольтер. Через четырнадцать лет после Революции народ был несчастнее, чем когда-либо. Прочитайте Тэна. Жорж упрекал Жюля Ферри в том, что его правительство не шло вперед. Ферри ответил: правительства никогда не бывают трубачами революции. И это верно. Мы, полицейские, консерваторы по должности. Скептицизм есть единственная философия, которая отвечает нашей профессии. В конце концов никто свободно не выбирает своего пути. Свободы воли не существует. Ни свободы выбора. Все предопределено ходом вещей.

И он стал скептически пить красное вино прямо из горлышка бутылки. Потом, затыкая пробкой:

— Ренан сказал, что новые идеи всегда приходят еще слишком рано. И это верно.

При этом черный бросил подозрительный взгляд на мою руку, которую я случайно положил на рукоятку двери. Чтобы успокоить его, я положил руку

в карман. Мы проезжаем через Бордо. Столица красного вина и вчерашняя временная столица Франции, когда враг подошел слишком близко к Парижу. Лозунг буржуазной Франции: „Граница по Рейну или — столица в Бордо". Едем Ландами. Пески. Здесь бонапартисты второго призыва: для укрепления песков Наполеон III насаждал здесь сосновые леса. Много кукурузы. Холмисто. Здесь не боятся цеппелинов. Тем временем старик брал реванш: он говорил о басках, их языке, женщинах, их головных уборах и прочее. Мы приближались к границе.

— Я возил по этой же дороге господина Пабло Иглезиас, вождя испанских социалистов, когда его выслали из Франции, — очень хорошо ехали, приятно беседовали, прекрасный господин... Для нас, полицейских, как и для лакеев, — заявил черный, — нет великих людей. И в то же время мы всегда нужны. Режимы меняются, но мы остаемся.

Мы подъезжали к последней французской станции Hendaye.

— Здесь жил Дерулед, наш национальный романтик. Ему достаточно было видеть горы Франции. Дон-Кихот в своем испанском уголку. — Черный улыбнулся с твердой снисходительностью.

— А я здесь всегда бы жил — подхватил старик — в маленьком домике и не уставал бы целый день глядеть на море... Ah!.. Пожалуйте, м-сье, за мной в комиссариат вокзала.

На вокзале в Ируне французский жандарм обратился ко мне с запросом, но мой спутник сделал ему франк-масонский знак.

— А, понял, понял,— отвечал тот и, отвернувшись, стал мыть под краном загорелые руки, чтобы показать полное свое безразличие. Но не удержался, посмотрел на меня снова и спросил скептика: — А где же другой?

— Там, у специального комиссара, — ответил черный. — Ему нужно все знать,— прибавил он вполголоса в мою сторону и торопливо повел меня какими-то вокзальными проходами.

— C'est fait avec discretion? N'est ce pas? Проделано незаметно, не правда ли? — спросил меня черный.— Вы сможете проехать в трамвае из Ируна в Сан-Себастьян. Вы должны иметь вид туриста, чтоб не вызывать подозрения испанской полиции, которая очень мнительна. И далее я вас не знаю, не так ли?

Простились мы холодно...

Черный сел одновременно со мной, но отдельно от меня, в вагон трамвая, который ведет из Ируна в Сан-Себастьян, долго колебался между чувством долга и аппетитом. Ему не хотелось ехать в Сан-Себастьян. Аппетит победил, и полицейский скептик соскочил с трамвая, что-то ворча себе под усы. Я свободен.

Сан-Себастьян, столица басков. Море, грозное без угроз, чайки, пена, брызги, воздух, простор. Неотразимым видом своим море говорит, что человек по природе своей предназначен быть контрабандистом, но что этому мешают побочные обстоятельства.

Испанцы в беретах, женщины в легких вязаньях („мантильях“) вместо шляп, больше пестроты и крика, чем по ту сторону Пиренеев. Улица, площадь и опять море. Хорошо и нет шпиков. Море здесь и в Ницце... Здесь меньше слащавости в природе, больше перцу и соли. Здесь лучше. Но лени много. В магазинах подолгу торгуются, и купцы с „психологией“. Банки закрыты, когда ни подойдешь. Набожность. Над моей постелью в отеле поучительная картина: La meurte Del Pecador — смерть грешника: двуглавый чорт забирает добычу у опечаленного ангела, несмотря на все усилия доброго аббата. Засыпая и просыпаясь, я размышляю о спасении души. В кинематографе любовники, прежде чем обнять друг друга, обмениваются кольцами при звуках Ave Marie. На перекрестках крайне невоинственные городовые с палками. Формы военные какие-то надуманные, затейливые, но не серьезные.

Счет в отеле мне написали на неведомом (будто бы французском) языке „Par habitation, pour dormir deux jour et par une bain“, что примерно означает: „Через поселение, чтобы спать два дня, и через баню“. Сумма была, однако, проставлена арабскими цифрами и не оставляла — увы — никакого места сомнениям. Сан-Себастьян — курорт и цены курортные. Надо спасаться.

II.

В ВАГОНЕ ПО ПУТИ В МАДРИД.

Продвигаемся вглубь Пиренейского полуострова. Это не Франция: южнее, примитивнее, провинциальнее, грубее. Общительность. Пьют из меха вино. Много и громко болтают. Женщины хохочут. Три монаха читают в книжке, потом благочестиво глядят в крашеный потолок вагона и шепчут. Много декоративности. Испанцы, завернутые в плащи



с красными отворотами или в клетчатые яркие одеяла и шарфы до носов, сидят на скамьях, как нахох-

лившиеся индюки или попугаи. Они кажутся неприступными. Оказываются болтунами.

В другом купэ поют народные песни.

Испанка — прислуга, которая работала в Париже и вернулась в начале войны в Испанию — едет теперь на работу в Мадрид. Хорошее сумрачное лицо. Испанцев немало в Париже, в частности шофферами.

Конфликт из-за окон. Те держат одно окно открытым, эти из протеста открывают все. Но без ссоры. Испанцы все зябли, кутались в плащи и шарфы.

Каменистая степь, холмистая с чахлыми кустарниками и слабосильными деревцами.

Серый рассвет. Дома каменные без украшений. Тоскливый вид. Телеграфные столбы низенькие, как нигде,— нет лесов. Ослы с вьюками по дороге: Испания. Но я-то зачем здесь?

III.

МАДРИД.

Мадрид. Вокзал. Дерут на части. Множество проблематических существований. Разносчики, продавцы газет, чистильщики сапог, гиды, комиссионеры неизвестно чего и всего, попрошайки, нищие и нищия



(по старому правописанию) — словом, та толпа, которою так богаты три южных полуострова Европы: Пиренейский, Аппенинский и Балканский.

Когда, при въезде в новый город, толпа людей рвет из рук ваш чемодан и вам одновременно предлагают почистить сапоги — по чистильщику на каждую ногу,— купить газеты, крабов, орехи и пр., вы можете быть уверены, что в городе дурная ассени-

зация, много фальшивой монеты в обращении, безбожно запрашивают в магазинах и много клопов в отелях. Несмотря на то, что мне довелось немало постранствовать в моей жизни, я так и не сумел развить в себе на этот счет необходимые органы сопротивления. Оттого в Бухаресте или Белграде я ходил с начищенными, как зеркало, сапогами, и с коллекцией фальшивых монет в кармане.

„Hotel de Paris“, очень скромная гостиница провинциального типа. Никто не говорит по-французски. Я объясняюсь посредством самой первобытной мимики. Испанка Эмилия не знает также языка эсперанто, которого, впрочем, не знаю и я (увы, она, как оказалось, не читает даже и по-испански), но при помощи своих десяти пальцев удовлетворительно объясняет мне цены, которые оказываются выше всяких предположений. Когда я пытаюсь выразить ей эту простую мысль изображением ужаса на своем лице, она скалит крепкие зубы, после чего я вынужден все же платить.

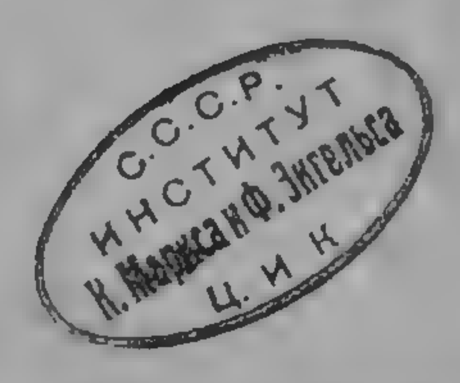
Возле королевского дворца мною принудительно овладевает гид (проводник). Он показывает мне церемонию смены караула, которую я вижу и без него. Церемония не лишена красочности со всеми своими декоративными условностями и со своей хорошей военной музыкой. Но все это длится слишком долго, особенно сегодня, так как ко двору должен прибыть в 12 час. 30 мин. новый аргентинский посол Маркос Авелланезе. Много народу в войлочных туфлях тихо мокнут под дождем. Высоко нагру-

женные двухколесные повозки с мулами или ослами в запряжке медленно ползут мимо. Мальчишки выкрикивают газеты, а затем играют в пуговицы на мокром песке. Показываются пышные придворные коляски. Мчатся верховые придворные чины с развевающимися фалдами. Посол в треуголке с плюмажем и седой бородой поворачивается направо и налево. Из окон дворца глядит генералитет с лентами через плечо, а гид пытается в угловом окне различить короля. Но это уже очевидно для того, чтобы терроризировать меня при расплате.

Потом я осматриваю с ним, опять-таки в порядке принуждения, коллекцию старого оружия, при чем он на ужасном французском языке дает мне объяснения, которые я мог бы тут же прочитать на карточках и без него.

В строющемся соборе гид, овладевший мною окончательно, показывает мне гробницы испанских грандов, откупивших часть собора для себя и членов своей семьи. Они уже занимаются сами отделкой своих вечных квартир, и тут царит чудовищная роскошь. На некоторых из этих мраморных ниш плакаты о сдаче в наем. Одна из них снята недавно королем под королеву Мерседес, как сообщает почтительно проводник. Затем он проводит нас по самому высокому в Мадриде мосту и хвалит его преимущества для самоубийц.

За завтраком в отеле „Voyageur de commerce" странствующий голубоглазый коммерсант, француз и даже парижанин, жалуется на леность и непред-



приимчивость испанцев. Работают во Франции, в Англии и, к несчастью, в Германии. Но не здесь. На чьей они стороне? Скорее на немецкой. Здесь и сейчас 35.000 немцев, которые работают и пользуются влиянием. В Барселоне иначе, там французский дух, но здесь — все германофилы. В Мадриде у людей даже не хватает инициативы наживаться на войне.

Отзывы коммерсанта обо всех вопросах и в частности о немецкой музыке отличаются твердостью и определенностью. Вагнера он, разумеется, презирает. Вот итальянская музыка — это другое дело.— „Я уволен“, — объясняет он всем и каждому, боясь, чтобы его не приняли за дезертира, и слегка показывает сухую левую руку. Это не мешает ему играть на стареньком инструменте сладчайшие романсы.

Кафе „Universel“ полным полно. Лица более разнообразны, чем за Пиренеями, от цыгана-конокрада до профиля Юлия Цезаря. Уже при входе поражает страшный крик. Все разговаривают полным голосом, чрезвычайно жестикулируют, хлопают друг друга по плечу, хохочут, пьют кофе и курят.

Два рода монументальных зданий выделяются в Мадриде: церкви и банки.

Старая Испания вкладывает свои капиталы в церкви. Маркизы и графы тратят еще и ныне миллионы на свои фамильные гробницы и заказывают на вечные времена молебны за упокой своих душ. Их мраморные ящики с золотом на виду у всех, как неопровержимое свидетельство их прочных отношений с небом. Но главную массу своих денег Испа-

ния несет не в церкви, а в банки. И в борьбе за душу Испании банки сооружают здания — храмы подавляющей пышности. Их много. Они чередуются с церквами и с огромными кафе.

Вот строющийся храм банка Rio de la Plata.

Было бы, однако, неправильно представлять себе взаимоотношения между этими двумя устоями, церковью и банком, в виде ожесточенной борьбы. Те миллионы, которые уплачиваются благочестивыми графами за привилегированные гробницы, вносятся святыми отцами в банки. А банки, в свою очередь, финансируют все, в том числе и построение соборов.

Первый раз я в городе, где я никого не знаю и меня никто не знает: никто в буквальном смысле слова. Кроме того, я не знаю языка и когда сижу в кафе и слышу быструю разговорную речь, я не понимаю ни слова. Идеальные условия для изучения страны. Впрочем, я к этому не готовился.

Мадрид вполне большой город, особенно вечером при электричестве и газе. После Парижа с его потушенными (из-за цеппелинов) фонарями, завешенными окнами, ночной Мадрид — в центре города прямо ослепил меня. Здесь живут поздно — до часу, до двух. После полуночи кафе еще полны, улицы ярко освещены. В Париже ночная жизнь очень развита в мирное время, но только в определенных частях города. Большинство же улиц трудящегося и вообще делового Парижа затихают к 10-ти часам. Театры заканчивают свои представления к 11—11 1/2 часам. На улице и в кафе остается только гулящая,

кутящая публика в собственном смысле слова, в подавляющем большинстве иностранцы, с высоким процентом русских, в Мадриде же ужинают в 9—10 час. Театры начинают открываться только в это время (10—11 час.) и заканчиваются к часу ночи. Ритм жизни ленивый. Несмотря на свое электричество и пышные банки, Мадрид провинциален. Суетлив без деловитости. Нет промышленного темпа. Много лицемерного благочестия, декорум добрых нравов соблюдается строже. На улицах проституция не бьет в глаза, как в городах Франции. В кафе очень мало женщин: это, очевидно, не принято. Пьют больше кофе, мало — абсент. Сидят и разговаривают, как люди, у которых много времени. Газет в кафе нет, нужно приносить свои. Зато сами кафе огромны — не как в Париже.

На лицах видна старая раса, но и запущенность; в мускулах лица, как и тела, нет делового напряжения, как в глазах нет сосредоточенности. „Время у испанца нипочем, — жаловался француз коммерсант. — С ним нужно несколько часов поговорить обо всем и потом немножко о деле. А затем он скажет: приходите ко мне еще. При этом он угостит вас обедом, поведет на бой быков, заплатит за вас, но дело сделает не скоро".

Испания, поскольку я ее видал (почти не видал), похожа на Румынию или вернее: Румыния — это Испания без прошлого.

Новая почта с колонками, башенками и вышками. Архитектура храма господствует здесь. Почту

иронически называют Norte Dame de Poste — Храм Пресвятыя Почты.

Но вот подлинный храм искусства — мадридский музей. „Насчет здания, освещения — это ничто, у вас есть Лувр, Люксембург, Версаль (испанцы принимают своего собеседника за француза), но картины у нас лучше". Лучше ли, чем в Лувре, не знаю, но прекрасен музей Мадрида. После сутолоки мадридских улиц, где я себя чувствовал безусловно лишним, я смотрел с радостью на неоценимые сокровища Мадридского музея и чувствовал по-прежнему элемент „вечного" в этом искусстве. Рембрандт... Рибейра... Картины Боса ван Акен, прекрасные по своей гениальности, наивности и жизнерадостности... Старик сторож дал мне лупу, чтоб рассмотреть маленькие фигуры крестьян, осликов и собак на картинах Миеля.

Но в то же время чувствовалось, что мы отошли от старого большого искусства на огромную историческую дистанцию. Между нами и этими стариками — отнюдь не заслоняя и не умаляя их — стало до войны новое искусство, более интимное, более индивидуалистическое, нюансированное, более субъективное, более напряженное... Война, вероятно, надолго смоет эти настроения и эту манеру — массовыми страстями и страданиями, — но в то же время это никак не может означать простого возврата к старой форме, хотя бы и прекрасной, к анатомической и ботанической законченности, к рубенсовским бедрам (хотя бедра, вероятно, будут играть в новом,

повоенном, жадном к жизни искусстве большую роль). Трудно гадать, но из тех небывалых переживаний, какими захвачено непосредственно почти все культурное человечество, должно родиться новое искусство.

Молодые художники, да и старые, обходя войну, боятся, не зная с какой стороны подойти (разумеется, речь не о тех, у которых штандарт скачет). В этом уклонении от страшнейшего и величайшего события человеческой истории выражается сознание того, что старые настроения и приемы не подходят к новым формам и масштабам жизни. Необходимы какие-то новые углы зрения, подходы, манеры, необходима трансформация художнической психики. Это происходит где-то и у кого-то, и это скажется. А пока...

В неприветливых полутемных залах музея идет непрерывная работа: стоят в разных местах десятка два мольбертов, художники, художницы, молодые и старые, прилежно копируют Веласкеца, Мурильо, Греко. Признаться, я не заметил ни одной сколько-нибудь сносной копии. О современной испанской живописи не имею никакого понятия, но если судить по этим копиям...

Когда мы выходим из музея, оказывается, что дождь за это время шел нещадный, все омыл, освежил и преобразил. Перед музеем сидит как бы на страже артистического прошлого своей родины, на монументальном кресле последний великий художник Испании, старик Гойа. Его всего облило водой, и под мясистым носом у него сверкает на солнце большая прозрачная капля.

Сегодня получил из Парижа посланное в догонку письмо с адресом французского социалиста-интернационалиста Депре. Он здесь директором страхового общества. Я разыскал его. Несмотря на свое буржуазное общественное положение, он целиком против патриотической политики своей партии, за Циммервальд и Кинталь. Он познакомил меня с политикой испанской социалистической партии: целиком под влиянием французского социал-патриотизма. Серьезная оппозиция в Барселоне, у синдикалистов.

— В национально-расовом смысле нет большой разницы между испанцем и французом, — говорил Депре, — испанец — это необразованный француз. Конечно, у них есть бой быков, но это в конце концов частность. Леность? Это преувеличение. У меня в бюро 15 испанцев. Я получаю от них ту же сумму труда, какую получал бы от 15 французов. Нужно только уметь подходить к ним и просить о работе, как об услуге.

Французский язык не знает ударений. А испанцам ударение необходимо. Стремление к внешней изобразительности. У них вопросительный знак ставится в начале фразы, а не в конце, чтобы подготовить и выражение лица, и интонацию. Испанцы очень синематографичны, противопоставление испанской грации парижскому шику здесь очень в ходу.

Не знаю, как обстоит дело на этот счет в Севилье и Гренаде, словом, в настоящей Испании, но здесь, в Мадриде, испанская грация остается все же в значительной мере лишь провинциальным отражением парижского „шика“.

Совершенно очевидно, что нужно посмотреть бой быков: Испания нейтральна, и потому во время всесветного боя людей не согласна лишать себя боя быков. Почему, впрочем, бой быков? Между быками нет боя. Есть бой между быком и человеком. Едем на трамвае за город. Осень, дождик. Последний в сезоне бой быков отменен. Желающим предлагается посмотреть скачки, которые происходят тут же. Возвращаться, — но куда? Посмотрим скачки. Несколько жадных банд (народу немного). Все друг друга знают. „Отпрыски" в цилиндрах. Все кланяются. Дама пожилая, с тройным подбородком. Все гриседают перед нею. Гусары королевские. Дождь. Ставки. Пари. Один жокей убился до полусмерти (лошадь слишком близко шла к барьеру). Его вынесли в бессознательном состоянии. Конюха вели лошадь с окровавленной ногой. „Он ее раздавил своим весом", кричит какой-то толстяк в цилиндре на полумертвого жокея. В общем, безобразная картина.

Под отели переделывают старые здания с бесконечными коридорами, закоулками, уступчатыми переходами и проч.

В то же время строятся огромные новые отели — „Palace Hotel" с необъятным кафе, одним из самых колоссальных во всей Европе. Чуть не весь Мадрид может одновременно играть на бильярдах этого кафе. На публику обрушивают бесконечные синематографические представления, музыку, пение... Целая стена отведена для чистки сапог со всеми необходимыми аппаратами. Тут же автоматическая гадалка —

с чучелом цыганки — за 10 сантимов выкидывает вам листок вашей судьбы. Но сейчас Palace Hotel почти пустует: война. Чистка сапог. Limpia Botas — это культ. На Puerta Del Sol существует целая „фабрика“ чистки сапог. Десятки мужчин и женщин сидят в два ряда. Внизу на коленях два ряда чистильщиков. Старый Мадрид мрачен, здания ужасны по неприспособленности и запущенности.

На окраине встречаются такие же заброшенные типы, как у нас в Николаеве или Кишиневе. Многие спят под заборами днем, на сырой земле, в поле.

По улицам движется множество ослов, с большими корзинами по бокам и восседающей сверху корзин крестьянкой. Это осталось совсем таким, как было во времена Дульцинеи Тобозской и даже во времена ее отдаленной прабабки.

По ночам крики на улице. Вы просыпаетесь иногда в ужасе, думая, что пожар (буквально). Оказывается: разговаривают под окном. Не ссорятся, а именно беседуют. Несмотря на испанское благочестие, попы открыто курят на улицах.

Я хотел посетить секретаря социалистической партии Ангиано. Но оказалось, что он посажен в тюрьму дней на 15 за непочтительный отзыв о каком-то католическом святом или учреждении. Пятнадцать дней — пустяки. Во дни оны Ангиано в этой самой Испании просто-на-просто сожгли бы на ауто-дафе. Пусть скептики отрицают после этого благодетельность демократического прогресса.

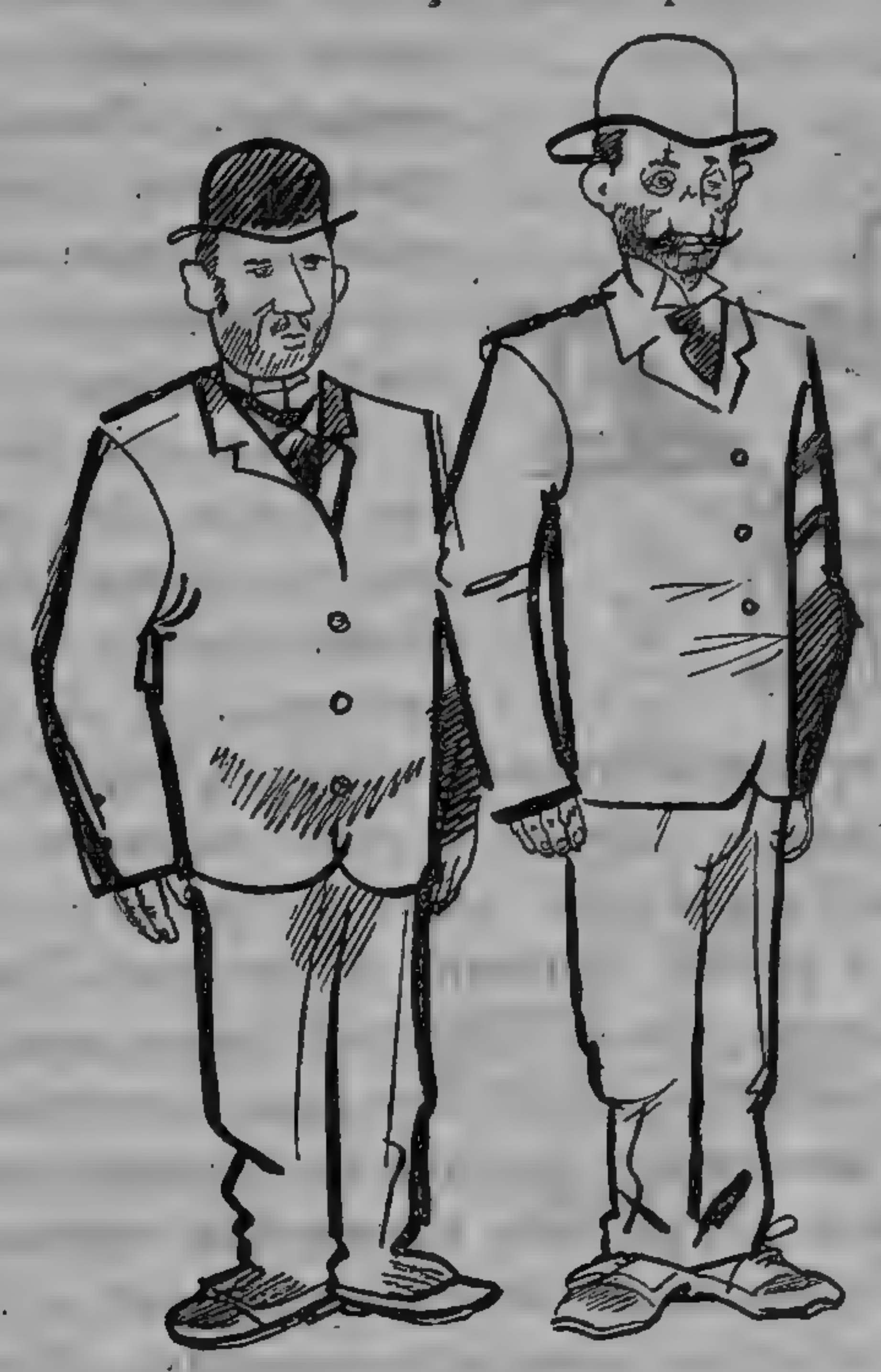
IV.

ТЮРЬМА.

1916 г. 10 ноября.

Вчера, в четверг, 9 ноября, горничная скромного маленького пансиона, где устроил меня Депре, вызвала меня таинственными жестами в коридор. Там стояли два очень определенной интернациональной внешности господина, которые без большого дружелюбия стали объяснять мне что-то по-испански. Я понял, что за мной явились полицейские и то, что пришло два, а не один (третий, как потом оказалось ожидал на улице), означало, что речь идет отнюдь не о простой справке о моих документах. Нужно сказать, что раз или два я наполовину замечал слежку за собой на улице, но, утомленный ею в Париже, не обращал внимания. Тем более, что и выбора-то особенного у меня не оставалось. Я пригласил посетителей в комнату, где один предъявил мне свою агентскую карточку. Это был высокого роста субъект с искалеченным глазом и крайне противным видом.— Parlez vous français?— спросил он вдруг, как бы найдя что-то, после тщетных попыток объясниться по-испански.

— Oui, je parle français, — спешно ответил я с облегчением. Но он-то, оказалось, не знал ни слова. Этот диалог повторялся со мной в Испании не раз. — Parlez vous français? — спрашивает вас собеседник после напрасных усилий объясниться с вами на языке Сервантеса. А затем оказывается, что, кроме этой фразы, он по-французски не знает ни слова. Но эта единственная фраза служит испанцам как бы отдушиной.



Пришлось за ними следовать. В помещении префектуры вышел на лестницу какой-то средне-полицейского вида господин, справился о моей фамилии и в ответ сказал: „tres bien', tres bien"... покачивая головой, с видом укоризны. Потом отдал приказ моим провожатым куда-то отвести меня.



— Значит я арестован? — спросил я.

— Да, por una hora, dos horas (на час — на два), — ответил он, — нам нужно только разузнать про вас...

Меня отвели в какую-то канцелярию, где я уселся на кожаном диване в позе человека, которому нужно подождать четверть часа — в пальто, с палкой в руках, с шляпой на коленях. Так, почти не меняя позы, я просидел до 9 часов вечера, т.-е. около 7 часов под-ряд. Это было мучительно. Ни один из чиновников полиции не понимал ничего на иностранных языках, как я ничего не понимал по-испански. Пребывание на глазах людей в течение почти трети суток утомило чрезвычайно. Я получил, правда, за это возможность наблюдать испанскую полицию в действии — или, чтобы быть более точным, — в бездействии. Чиновник сменял чиновника, но никто ничего не делал. Один присел за пишущую машину, пощелкал минуту, потом раздумал и

бросил. Остальные даже не пробовали. Разговаривали, показывали друг другу фотографические карточки, даже боролись в соседней комнате. Приходило за это время десятка два человек с улицы, то в сопровождении полицейских, то самостоятельно, за справками или с жалобами. Все больше убогая, рваная публика. Нельзя сказать, чтоб полицейские обращались грубо. Наоборот, не без южного добродушия и спокойствия. Всегда ли дело так обстоит, или сдерживало отчасти присутствие иностранца, не знаю, но думаю, что испанцы вообще не свирепы, то-есть не утруждают себя профессиональной свирепостью.



В 9 часов вечера меня повели наверх, в какой-то синклит. Спросили, кто я и откуда, ожидая, повидимому, уклончивых ответов и готовясь меня тут же изобличить. Посредником был переводчик, который очень плохо говорил по-французски, еще хуже по-немецки, но который заявил, когда узнал, что я не говорю по-английски, что он владеет этим языком, как испанским.

Я объяснил, что выслан из Франции, где защищал „пацифистские идеи“ (мои единомышленники да простят мне это злоупотребление терминологией, допущенное в интересах упрощения беседы с испанской полицией).

— А не были ли вы в Циммервальде?

— Был. Об этом было напечатано в разных газетах.

— А какое предложение вы там внесли? — Речь шла, очевидно, о проекте манифеста.

Я ответил, что выступал и там, разумеется, в духе пацифистских взглядов.

— Почему не возвращаетесь в Россию?

Я и это объяснил.

— Вы русский? — Я хотел показать удостоверение моего подданства, выданное мне русским консулом в Женеве в начале войны. Но они совершенно не поинтересовались бумагой, переглянувшись со словами: „это бумага 1914 года“. Они, видимо, кокетничали своею осведомленностью. Для меня стало совершенно ясно, что они получили подробные сведения обо мне от парижской полиции и русской агентуры.

В результате всех разговоров, шеф, маленький лысенький человек со слащавой физиономией, заявил через переводчика, что испанское правительство не считает возможным терпеть меня на своей территории, что мне предлагается немедленно покинуть Испанию, а впредь до этого моя свобода будет подвергнута „некоторым ограничениям“.

— А нельзя ли знать причину?

— Ваши идеи — слишком передовые (Trop avancées) для Испании,— ответили мне чистосердечно через переводчика.

После этого „шеф“ в моем присутствии объяснил кривоглазому агенту (он присутствовал тут же, почтительно вытянувшись), что со мной необходимо обращаться как с „кабальеро“, что я человек книжный, что дело идет о моих „идеях“, и потребовал, чтобы он это передал каким-то инспекторам.

Тем временем полицейский переводчик откровенничал со мной:

— Вы поймите, мы не можем, мы очень жалеем,— говорил он самым чувствительным голосом.— Сколько уж было у нас покушений на короля... Вы себе представить не можете, сколько мы тратим денег на преследование анархистов. И потом Россия делает такие затруднения нашим испанцам, которые туда направляются, что ужас.

Таким образом я отвечал одновременно и за испанских анархистов, и за русскую полицию.

Во время допроса какой-то шикарнейший полицейский субъект (все они в штатском) в пестром жилете и цилиндре, надушенный, с сигарой влетел в комнату и очень довольный собой и всем миром покровительственно поздоровался со мной и потом неожидано: „Comment vous portez vous?“ (Как поживаете?). Хотел ли он хвастнуть французской фразой или иронизировал, или, наоборот, проявлял любезность, не знаю. Не без удивления я ответил почти автоматически:

— Merci, et vous? (Спасибо. А вы?)—Потом он упорхнул.

Меня снова свели в ту же комнату внизу. Здесь я обедал (принесли из соседнего ресторана) и оставался еще до двенадцати часов ночи.

Туда же вызвали ко мне, по моему требованию, Депре, который решил немедленно же предпринять некоторые шаги.



В 12 часов агент на извозчике отвез меня... по дороге я понял куда — в тюрьму.

Мой провожатый, все тот же кривоглазый сыщик, оказался уже изрядно пьян. Шеф ему при мне выдал за что-то 5 песет; он благодарно поклонился, сломившись вдвое, и через два часа явился за мной в состоянии полного блаженства. Так как ему приказано было быть вежливее со мной, как с „кавалером", и так как он был сильно пьян, он хло-

пал меня по плечу, разговаривал без конца, разумеется, по-испански, перебивая себя словами: — „Parles vous français, monsieur?“ В экипаже он совсем расчувствовался, объяснялся в любви к русским, англичанам, французам и бельгийцам...

— Кто я такой, — говорил он, — солдат. Я выполняю, что мне приказано. У вас идеи, — он указал на мой лоб. — Дети у вас есть? — спросил он неожиданно. Я ответил. — У меня пятеро: мал-мала меньше.

Он это говорил по-испански, но выходило в конце концов то же самое, особенно когда он показывал, что самого маленького мать кормит грудью. Потом он вдруг зажег спичку в закрытом экипаже, поднял ее к своему лицу и стал показывать, как его изуродовала американская пуля: вошла выше правого глаза, прошла через нос и изуродовала левый глаз. После этого он вернулся и, когда оправился, поступил в сыщики.

— Американец — это проклятый народ. Но русские... — И он снова стал говорить о своей любви к русским и к союзникам вообще. Он пробовал меня угощать папиросой, почти тыча ее мне в рот, потом решил меня во что бы то ни стало угостить пивом, остановился перед пивной, стал требовать пива — и хотя ему поручено было перевезти меня в полночь именно для избежания посторонних глаз, он умудрился собрать вокруг экипажа порядочную толпу. Во всей этой сцене было нечто чрезвычайно русское, особенно, если прибавить, что этот самый

чувствительный шпик, прежде чем ему приказали обнаружить вежливость, был со мной крайне нагл, и в отеле при аресте даже подталкивал в спину, приговаривая:—„pasade“. Он очень огорчился, когда я отказался от пива, предложил кофе, показывал, что платить будет он, вообще был назойлив и жалок до последней степени. Кончил тем, что выпил пива с извозчиком, выпил еще,—и мы поехали дальше.

Тюрьма, старая знакомая, в общем и целом всегда одна и та же.

Солдат со штыком стоит под фонарем и, закинув ногу за ногу, читает газету.

Сторож пропускает нас внутрь. И стены, и коридоры, и запах тюремный—вот уж почти десять лет, как я не видел и не обонял этого изнутри. Дежурный помощник начальника с расстегнутым воротом уже ждал нас. Сыщик и ему рассказал, что я caballero, но тот и так уже знал, что со мной полагается „тонкое обращение“.

Осмотр вещей в центре тюремной „звезды“, в пересечении пяти корпусов, в четыре этажа каждый. Лестницы железные, висячие. Тишина, особая, тюремная, ночная, насыщенная тяжелыми испарениями и кошмарами. Скудные лампочки электрические в коридорах. Все знакомое, все то же. Я взошел на центральную площадку и оглядывал корпуса. Из окошечка контрольной будки высунулся не то помощник, не то старший надзиратель и вежливо предложил мне знаками снять шляпу.—No es iglesia (не церковь),—ответил я ему на приблизительном испанском языке.

Подбежал к нему сыщик и стал уговаривать, чтобы он меня не трогал. Тот не настаивал.

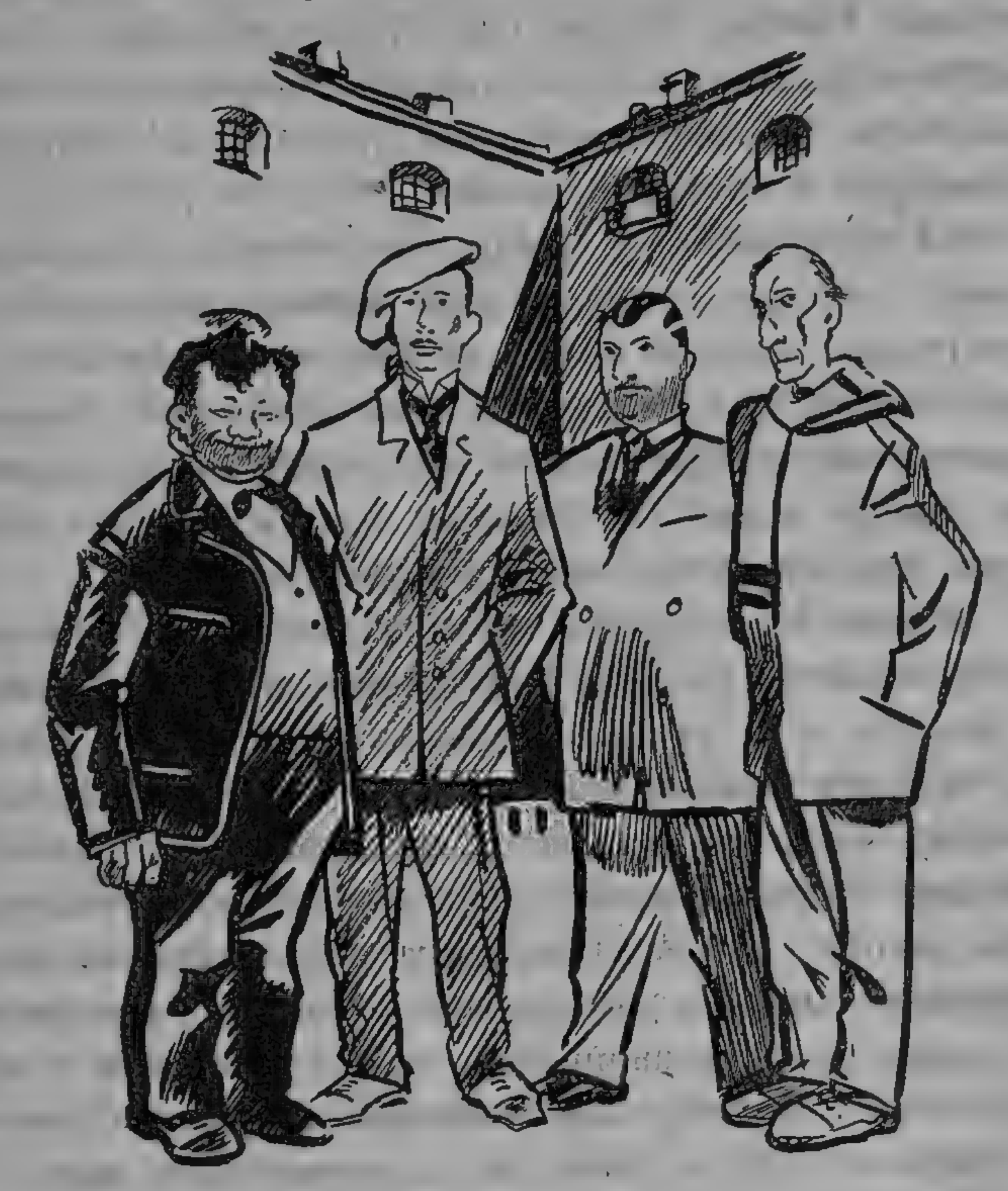
Вещи просматривали (карманов из вежливости не обыскивали), отобрали нож и ножницы (в некоторых отечественных тюрьмах отбирают также подтяжки,—тут оставили), деньги отобрали. Одноглазый сыщик всячески вокруг меня увивался, хлопал дружески по спине и на прощание протянул руку. Я потянулся за надзирателем по коридорам и лестницам. Грохот отворяемой железом окованной двери. Вхожу. Большая комната, полутьма, ковер на полу, скверный тюремный запах, жалкая кровать, внушающая недоверие... Надзиратель указал мне где что (электрическую лампочку забыли вставить), дал две спички и ушел, громыхая дверью. Я остался один. Было около часу ночи. Чувствовалась усталость после богатого событиями дня. Однако, прежде чем ложиться в кровать, я решил снарядиться (в Николаевской



тюрьме или Херсонской, 18 лет тому назад, я не был так осторожен): застегнул все пуговицы и укрылся своим пальто. Открыл форточку. Веяло прохладой. Тут только мне стала ясна вся несуразность случившегося: каким это образом я оказался в Мадриде в тюрьме? Вот уж не ожидал. Правда, меня выслали из Франции. Но я жил в Мадриде, как на железнодорожной станции, дожидаясь своего поезда, списывался с Гриммом и Серрати о переезде в Швейцарию через Италию, ходил в музей, глядел Гойю и Грека, был за тысячу верст от испанской полиции и юстиции. Если принять во внимание, что я в первый раз в Испании, прожил всего какую-нибудь неделю в Мадриде, не знаю испанского языка, ни с кем не виделся, кроме Депре, не посещал никаких собраний, то арест мой предстанет во всей своей нелепости.

Я лежал в постели Мадридской „образцовой тюрьмы“ и смеялся. Смеялся, пока не заснул. Спал крепко. Утро. В камере два окна, завешенные ситцевыми наволочками. На кровати подозрительная, но все же простыня. В углу вежливо заставлено подобием ширмы. Два угловых шкафика, вделанных в стену, со стеклом. Деревянное кресло. Столик. Умывальный столик под водопроводным краном. Над столом распятие на стене. На полу ковер. Все грязно и проплевано, но, во-первых, не так все же, как могло бы быть, а, во-вторых, коврик, и занавески, и шкафчики, и два полотенца у умывальника, — совсем не по тюремному штату. Позже, на прогулке, мне объяснили, что в этой тюрьме есть камеры платные и

бесплатные: буквально. Платные, в свою очередь, делятся на два класса: первый — цена номера 1 песета 50 сант. в сутки и второй — по 75 сант. в сутки



Всякий арестант вправе занять платное помещение, хотя и не вправе отказываться от бесплатного. Моя камера — платная, первого класса. Занавески на окнах, как оказывается, это, чтобы не видно было решеток и чтобы комната походила по возможности на отдельную.

Я нигде не слыхал о тюрьме из трех классов и о платных камерах. Но в конце концов приходится признать, что испанские буржуа только последовательны. Почему должно быть равенство пред тюрьмой в обществе, которое целиком построено на неравенстве и расчленяется на три класса: имущий, неимущий и промежуточный.

На прогулке же я узнал, что обитатели платных камер пользуются еще одной важной привилегией: они гуляют два раза в день по часу, тогда как остальные — всего раз. Это опять-таки правильно. Легкие арестантов, которые платят ежедневно полтора франка, имеют право на большую порцию чистого воздуха, чем легкие, которые дышат бесплатно.

Моими товарищами по прогулке были сплошь интересные персонажи. Худощавый кособокий немец с шарфом и в суконных башмаках. Говорит бегло на четырех языках. Бросил изучать русский только потому, что очень трудно. „Вам хорошо, — объясняет он мне, — русский язык так труден, что все остальные вам даются легко“. Он сразу овладевает мною и знакомит меня с остальными. Бритый, в черном, с гладко причесанными блестящими волосами — это кубанский испанец или испано-американец. Ничего особенного. Не то убил, не то ранил свою жену.

Вон тот, в синей паре с безукоризненной складкой, в желтых башмаках и берете — это известный, выдающийся, виднейший вор. Его даже в газетах называют королем воров... Впрочем, может быть, это и преувеличено, — говорит немец тоном зависти.

Третий — лохматый, толстый, черный, в бархатном костюме — прибыл только сегодня. Кто он, неизвестно. Кубанец сразу прозвал его — очевидно, за внешний вид — Санчо-Пансой. Король воров оказался очень любезным, хотя и сдержанным собеседником.

— Проклятая война. Из Парижа? А как теперь в Париже полиция? Вена — прекрасный город. Ринг, Кернтнерштрассе... Вы были в Лондоне? О, имеет свои преимущества.

Все это мимоходом.

— Вы, повидимому, хорошо знаете Европу?

— Да, недурно. И обе Америки тоже.

— Но в России вы не были?

— Был. Во время войны. Раньше в Лодзи, а когда немцы туда пришли, я переехал в Варшаву. Там было одно хорошее предприятие, на восемьдесят тысяч франков...

Тут он оборвал себя и не стал продолжать. Я тоже не смущал его профессиональной скромности. Помолчали.

— А с русской полицией у вас не было неприятностей? — спросил я осторожно.

— О, нет. Только паспорта у вас спрашивают слишком часто.

Из России он перебрался каким-то образом в Венгрию, из Венгрии — в Италию, оттуда в Испанию. Здесь его забрала полиция — „без всякого смысла". Газеты, видите ли, слишком много писали о нем после его возвращения, делали ему нелепую рекламу, — и вот результат. Проклятая война, расстраивает все планы.

— А какого вы мнения о Канаде? — спрашивает он меня неожиданно, — я думаю туда съездить.

— Канада? — отвечаю я нерешительно. — Там, знаете, много фермеров и молодой буржуазии, у которой должен быть культ собственности, как, например, в Швейцарии.

— Гм... Да, это возможно, — говорит он с раздражением, — весьма возможно.

Вечером приехал в тюрьму одноглазый шпик и заявил мне, точно о совершенно новом факте, — что правительство меня высылает из Испании и предлагает выбрать страну. Как будто вчера ничего не было говорено. Но на сей раз он от мадридского градоначальника. Отвечаю:

— Пока держите в тюрьме, не предприму никаких мер к переселению в другую страну. Если ваше правительство хочет, чтоб я выехал, пусть даст мне срок и свободу.

Обещал ответ завтра или послезавтра.

Переводчиком между мной и шпиком (с ним — помощник начальника тюрьмы) служил кособокий немец. Он очень робел и переводил мои слова смягчая.

V.

Суббота.

Сегодня утром опять принесли грязную жижу под видом кофе. Не пил и не ел в течение 30 часов. Слабость во всем теле, но голова работает ясно. Решил написать письмо министру внутренних дел (по-французски).

Господину министру внутренних дел.

„Господин министр. Имею честь предъявить вам самый энергичный и торжественный протест против действий мадридской полиции в отношении меня.

Меня арестовали третьего дня в 2 часа пополудни и заключили в тюрьму — не только против всяких прав, но и против здравого смысла.

Я выслан из Франции за свою, так называемую, пацифистскую деятельность. Здесь нет надобности расследовать, в какой мере эта высылка была основательна или же объяснялась влиянием военной нервозности на французскую полицию. Но во Франции меня не арестовыва-

ли. Меня письменно пригласили в префектуру и дали мне срок, который, вместе с отсрочками, предоставил в мое распоряжение 2 месяца для устройства моих дел.

Здесь, в Мадриде, меня арестовали без каких бы то ни было объяснений, кроме следующей, почти классической, фразы: „Ваши идеи слишком передовые для Испании".

Я не знаю, достаточно ли и каким путем мадридская полиция осведомлена о моих идеях. Я их выражал в течение моей двадцатилетней сознательной жизни в книгах, брошюрах и статьях русских, немецких и французских, но никогда — по-испански... В префектуре Мадрида я имел случай констатировать, что там не имеют никакой идеи о моих идеях. Но я и вообще не думаю, что можно заключить в тюрьму за „идеи", которые данное лицо не только не применяло, но и не выражало в соответственной стране, тем более, что это лицо не имеет и материальной возможности выражать свои идеи. Я в первый раз в Испании. Всего 10 дней, как я приехал в эту страну. Я не владею испанским языком. У меня нет никаких знакомств во всей Испании. Согласитесь, что идеальные условия для исключения какой бы то ни было возможности угрожать безопасности чего бы то ни было. Почему меня арестовали? — вот вопрос, который осмеливаюсь вам поставить, господин министр.

Вчера прислали ко мне в тюрьму агента охраны, который мне повторил, что я должен покинуть Испанию и немедленно указать, в какую страну я хочу направиться. Но сейчас я не имею возможности свободно выехать куда бы то ни было: предварительно нужно получить согласие соответственного правительства и особенно после ареста в Мадриде, ибо, господин министр, ни один человек в Европе и во всем мире не захочет поверить, что я был арестован в Мадриде без всякой, не только осязаемой, но и умопостигаемой причины. Своими мероприятиями мадридская полиция создает вокруг меня легенду, которая материально мешает мне покинуть страну, несмотря на мою готовность. Не дожидаясь постановления о моей высылке из Испании, еще накануне моего ареста, я предпринял необходимые шаги, чтобы выехать в Швейцарию. Ныне эти шаги прерваны. В тюрьме я не могу ничего сделать для того, чтобы получить — на-ряду с полицейским приказом о выезде — также и материальную возможность выполнить этот приказ. Мне не остается ничего другого, как пассивно дожидаться дальнейших мероприятий испанской полиции и протестовать против ее, поистине, средневековых методов.

Примите, господин министр, выражение моих изысканнейших чувств".

Из-за писания письма, да еще из-за слабости не пошел на прогулку. Но не успел кончить, как позвали куда-то. Оказывается, для антропометрических измерений. Обширная часть тюрьмы отведена под это учреждение. Целая стена занята ящиками, которые заполнены карточками в алфавитном порядке. Есть, стало быть, область, где Испания идет вполне в ногу с „передовыми идеями" (ваши идеи слишком передовые для Испании, сказали мне в префектуре). Мне предложили испачкать свои пальцы в типографскую краску и дать их оттиск на карточках. Я запротестовал.

— Но это обязательно, — повторял изумленно чиновник, заведующий антропометрией. — Всякий, проходящий через нашу тюрьму, подвергается дактилоскопии.

— Но я протестую именно против того, что меня заставили пройти через вашу тюрьму.

— Но мы тут не при чем.

— Но я только вас и вижу перед собой.

И т. д. и т. д. Известный диалог.

— Но мы обязаны будем применить силу.

— Что ж? Надзиратель может мазать мои пальцы и печатать их, я лично не „пошевелю пальцем", — на этот раз в буквальном смысле слов.

Так и было. Я глядел в окно, а надзиратель вежливо пачкал мою руку, палец за пальцем, и накладывал раз десять на всякие карточки и листы, — сперва правую руку, потом левую. Дальше мне предложили сесть и снять обувь. Я отказался. Тот же

диалог, но в несколько более повышенном тоне, по крайней мере, с моей стороны. Пригласили старшего помощника, вежливого, как и все. — Parlez vous français?— говорит он мне.—Oui, monsieur,— отвечаю я ему с облегчением, ибо разговор с остальными происходил на импровизированном эсперанто. Но повторилось то же: новопришедший кроме фразы „говорите ли вы по-французски“ ничего по французски не знал. Позвали переводчика-арестанта. Я объяснил, что ничего против них лично не имею, ценю их вежливость, но что не желаю подвергаться добровольно унизительной процедуре, пока мне не скажут, в чем я обвиняюсь. В конце концов меня неожиданно отпустили на свидание, найдя в этом выход из положения.

Пришли ко мне Депре с одним из членов Центрального Комитета испанской соц. партии. Оказывается, что Депре уже предпринял некоторые шаги. Кто-то отправился к министру внутренних дел, кто-то к Романонесу. Началась маленькая кампания в прессе. „El Socialista“, весьма франкофильский, напечатал статью по поводу моего ареста; в какой-то газете („скорее германофильской“) появилась о том же заметка. Еще важнее показалось мне то, что Депре прислал консервов и даже... варенья. Я набросился на все это после долгого поста с великою жадностью.

...Тюремные надзиратели, как и более высокое тюремное начальство, производят впечатление добродушия и южной мягкости. Не видно натасканного

зверства, ни внутренней угрюмости. При противодействии теряются.

Столкнулся с тюремным священником. Большинство попов здесь на стороне центральных империй и потому ведут пацифистскую линию из опасения, чтоб Антанта не втянула Испанию в войну на своей стороне. Поп выразил свои католические симпатии моему пацифизму. Но в то же время прибавил в утешение: „Pacienzia, pacienzia“ (Терпение).

6 часов вечера. Тихо. Надзиратель приходил в последний раз с арестантом, заведующим хозяйством. Принесли мне 3 яйца. Спросил, не холодно ли с открытыми окнами. Этот вопрос надзиратель задает каждый раз, когда входит. Я успокоил его, объяснив, что у меня окна открыты и зимою всю ночь. „Вы очень крепки“, говорит надзиратель, небольшого роста, худощавый человек, и показывает мне, как он дрожит ночью на дежурстве. А уголовный эконом, добродушнейший и глупейший парень, который обкрадывает меня в соответствии со своим двойным званием, уголовного и эконома, одобряюще хлопает меня по плечу. Потом прощаемся, надзиратель медленно закрывает дверь, запирает ее на ночь, и я один. Теперь уж никто не станет беспокоить меня. Это самое лучшее время во всех тюрьмах. Как хорошо было бы сидеть так до двенадцати часов, если бы свет и чай. Но для чаю нужен чайник (машинку мне прислал Депре), а электричество у меня проведут только завтра, по особому заказу.

Чтобы пользоваться электричеством до часу ночи, нужно платить два с половиною франка в месяц. Она прямо таки удивительна, эта мадридская тюрьма. Здесь все можно иметь: хорошую комнату, пиво, вино, табак, свет до поздней ночи,— нужно только платить. Этот тюремный либерализм имеет под собой несомненно фискальные мотивы. Сдавая эти „номера“ в наем более зажиточным из своих невольных постояльцев, государство наводит экономию на тюремных расходах. А при вечно дефицитном испанском бюджете этот вопрос не маловажен...

Кашляющий кособокий немец оказывается, на поверку, не немец, а испанец или может быть испанский еврей. Жалкий хвастунишка. У него дядя, по его словам, председатель окружного суда в Мадриде. Сам он был торговым агентом, но со времени войны связи оборвались, он стал учительствовать, отец двух его учеников дал ему сто песет, для уплаты куда-то за экзамены, а у него случилось экстренное семейное обстоятельство и пр.

Про короля воров он сообщил любопытные подробности. Тот вернулся из заграничных гастролей во время войны, имея 50.000 франков в кармане: не остаток ли это от варшавской операции, о которой сам король мне глухо упоминал? В Мадриде он сейчас же вошел в общество кутящей молодежи, проводил очень весело время со своими молодыми, нередко весьма аристократическими друзьями, от которых он ничем не отличался, и меньше всего —

манерами. Многих из этой молодежи он подбивал на кражи у своих родных. Те усваивали приемы отмычки так же легко, как их наставник — аристократические манеры. В конце концов о нем заговорили, газеты называли его „графчиком", полиция заинтересовалась им, произвела обыск и нашла воровские инструменты. Вот почему он и сидит теперь.

Сам король мне сегодня рассказал мимоходом при случайной встрече в зале свиданий (разделенном, как и везде, двумя решетками), что раньше он был анархистом и имел на этой почве в Барселоне столкновения с полицией. „Но я давно покончил с моими идеями", прибавил он сухо. Король вообще говорит твердо, кратко, без хвастовства, по крайней мере явного, как и полагается королю, и вообще производит впечатление серьезного, выдержанного вора и притом, действительно, высокого полета.

Плотный испанец, с черной, как смоль, бородой, прозванный Санчо-Панса, оказывается довольно крупный углеторговец. Он кого-то обманул на 1000 песет — вот и все. Вчера он был как-то неуверен и молчалив, но сегодня, на второй день своего пребывания в тюрьме, чувствует себя, как дома, шутит с независимым видом и знаками спрашивает меня, хорошо ли я спал.

Кубанец пел сегодня из Риголетто и из Аиды. У него недурной баритон и выразительное лицо. Он готовился к оперной карьере, но „погиб" из-за какой-то женщины, которая донесла на него, будто он покушался на ее жизнь. Приговорен он к $2^1/_2$ годам.

Но кособокий испанец, которого я принимал за немца и который все знает, говорит будто у кубанца была какая-то история еще на Кубе, где он зарезал негра и был за это приговорен к $8^1/_2$ годам каторжных работ. Ко мне кубанец относится с явной симпатией, утверждает, что хотя и не может со мной объясниться, но видит по лицу, что и я хороший товарищ, и папироску, которую я ему дал, пошлет своей жене,— говорит он из своего небогатого английского словаря. И тут же уверяет, что его лэди — замечательная красавица. Не на нее ли он покушался с ножом? Он несомненно ненормален, ко всем пристает, поет, свистит, но иногда злобно огрызнется, если его затронут, и превосходно подражает лаю собаки.

VI.

Но все-таки: чего от меня хотят испанские власти? Почему арестовали? Почему держат в тюрьме? Каковы дальнейшие их виды?

Мой арест не есть во всяком случае случайный арест проезжего русского эмигранта, у которого бумаги не в порядке, арест подозрительного человека, которого они не знают. Наоборот, они не заглянули в бумаги. Они меня арестовали именно потому, что знали. Следовательно, это арест подготовленный и рассчитанный. Какая же его цель? Для чего они держат меня?

Попробуем свести воедино.

1. Французское правительство непременно хотело выслать меня в Испанию, а не в какую-либо другую страну.

2. Испанское правительство вынесло постановление о моем аресте и заключении в тюрьму *до моего допроса*,— стало быть исключительно на основании французских сообщений (разумеется, за всем этим стоит царская дипломатия).

3. Но какой интерес у Испании?

а) обще-полицейский;

б) „маленькие подарочки поддерживают дружбу“ (Французская пословица, а испанское правительство находится сейчас фактически в услужении у Антанты).

Но зачем меня держат в тюрьме? Что-то, очевидно, готовят? Но что именно? Не отправят ли в один из средиземных портов, чтобы оттуда „нечаянно“, „по недоразумению“ выбросить меня на корабль, с которого я попаду на русское военное или транспортное судно? Организовать это вовсе не так трудно — под закулисным руководством русского посольства в Париже и его здешней агентуры. Ведь крови-то мы им нашей ежедневной газетой испортили не мало. А в Средиземном море есть русские суда. Меня и держат в тюрьме до надлежащего момента.

Вывод: немедленно написать обо всем этом Депре, чтобы поднять надлежащую кампанию в прессе.

Сделано.

Воскресенье 12.

Освобождение из тюрьмы.

Комиссар: — Вы останетесь на несколько дней здесь, потом будете высланы.

— Куда?

— Не знаю.

Шпик (через час): — Вы уедете сегодня вечером в Кадикс.

Кадикс? Так и есть. Южный порт. Сон в руку.

Меня провожают по коридору „товарищи" по заключению.



„Немец" воришка:— Вы, наверно, останетесь в Испании. А когда я выйду, я вас поселю у себя в доме и я скажу, что я ручаюсь за этого человека.

Таким образом у меня есть в Испании влиятельный покровитель. Жаль только, что он в тюрьме...

Надушенный полицейский комиссар, явившись за мною в тюрьму, первым делом:

— Bonjour, monsieur, comment vous portez vous? (здравствуйте, как поживаете?) Избыток южного добродушия или издевательство?

— А вы?— спросил я его.

Он (смущенно): — Мерси, очень хорошо.

Я:— Я также, мерси.

После этого он заговорил менее фамильярным тоном. Одноглазый шпик привез меня из тюрьмы

в мой пансион. Там меня, смущенного, встретили, к великому моему изумлению, очень хорошо. Чему приписать их необыкновенное сочувствие? Потом я понял: сюда приходил Депре, не простой смертный, а директор мадридского отделения страхового общества, и разъяснил, что я не фальшивомонетчик и не немецкий шпион, а „пацифист", стою за мир (как в Испании), и кроме того аккуратно уплачу по счету.

С Депре условились насчет необходимых шагов в печати и в парламенте по поводу высылки в Кадикс. Шпик дежурил у ворот пансиона, провожал меня, когда я выходил, и так как я не знал дороги, то он проявлял величайшую догадливость: „Не нужен ли вам рабочий дом?" и показал мне направление.

Шпик спросил меня, желаю ли я сам платить за свои билеты до Кадикса. Я твердо отказался. Достаточно платы за номер в образцовой тюрьме. В конце концов мне нет нужды ехать в Кадикс.

Вечером меня увезли — за счет испанского государственного бюджета.

VII.

НА ЮГ.

Итак, едем из Мадрида в Кадикс, путевые издержки за счет испанского короля. На вокзале нас провожало изрядное количество полицейских в штатском. Кадикс? Это где-то на крайнем юго-западе Пиренейского полуострова, который сам есть крайний юго-запад Европы. До сих пор путешествие в сопровождении ангелов-хранителей приходилось совершать только на крайнем северо-востоке. Высылка под гласный надзор полиции в уездный город Кадикс. Не Киренск, а Кадикс... Это не на Лене, а по ту сторону Гвадалквивира.

Из Сан-Себастьяно — в Мадрид, из Мадрида — в Кадикс, это значит пересечь с севера на юг всю толщу полуострова.

На двух скамьях третьего класса нас трое: я и мои спутники. Впрочем, к нам иногда подсаживаются более любознательные пассажиры. Мои спутники этому не препятствуют. Наоборот, охотно объясняют, что я не фальшивомонетчик, а „пацифиста" (pacifista). Такая рекомендация вызывает в большинстве случаев

разочарование. От одного из спутников, более разговорчивого и вообще, как оказывается, крайне независимого, я узнаю любопытные подробности. Как собственно говоря, до меня добрались? Очень просто: по телеграмме из Парижа. Мадридская дирекция получила от парижской префектуры телеграмму: „Опасный анархист, имя рек, переехал границу у Сан-Себастьяно. Хочет поселиться в Мадриде". Так что меня ждали, искали и были обеспокоены, не находя в течение целой недели.

Один из сопровождающих меня шпиков был на мадридских скачках и заметил меня. Почему? „Всех других, кто посещает скачки, я знаю, а вас не знал и отметил себе". Вот по этой нити и нашли.

— Вы были с французом,— говорит он, после некоторой паузы.

— С французом? — удивляюсь я.

— О, да, я его заметил,— и галиго хитро щурит глаз.

Тщетно было бы разубеждать его. Несуществующий „француз" уже не менее недели, как стал полицейской реальностью: он имеет свои приметы и на розыски его производятся расходы из государственного бюджета. Пусть существует!

„Французская полиция,—говорит знаток скачек,— хуже всех. Она часто нам посылает такие телеграммы. Один раз синдикалист-поляк приехал в Барселону, в сущности невинный человек. Сейчас телеграмма: „опаснейший анархист". Я его провожал из Барселоны в Виго, и мы полностью сошлись в оценке

французской полиции... Наши — франкофилы? Из-за денег. Вы можете мне поверить. Все они получают от Англии и Франции. Конечно, испанцу трудно быть англофилом, даже за плату. Но франкофилом?— почему бы нет, раз хорошо платят. Англия поддерживает Португалию против нас и не хочет сильной Испании. Гибралтар! Гибралтар! Но и Франция хороша: она покушается на Каталонию. Если Германия победит, мы будем иметь Гибралтар. Если победит Франция, мы можем лишиться Барселоны. Я германофил по идее. А Романонес — франкофил из-за денег". Так независимый полицейский агент аттестовал своего премьера.

Поразительно, с какой свободой мои шпики разговаривали обо мне с пассажирами, рекомендовали меня как „симпатичного" человека, которого оклеветала парижская полиция. О, эти французы, они точат зубы на Барселону! А этот господин за мир,—pacifista, pacifista. На эту тему шел общий разговор, в котором и я принимал посильное участие.

1 час 30 мин. ночи. По пути в Кадикс. Сейчас стоим в Альказар де Сан-Хуан (см. гид Жуан, стр. 306). Это Ла-Манча. Тут сейчас Тобозо, откуда родом Дульцинея. Совсем по соседству. Дульцинея остается подлинной реальностью, и от нее заимствует свою реальность Тобозо. Эта местность населена Сервантесом. Все названия звучат выразительно его милостью и живут особой жизнью только благодаря тому, что сошли со страниц „Дон-Кихота".

Однако, если подумать, выходит гнусно; французские полицейские „деликатно“ провели меня через границу, почитатель Монтеня и Ренана спросил даже: c'est fait avec discretion? (незаметно сделано, не правда ли), а одновременно та же полиция телеграфировала в Мадрид, что через Ирун-Сан-Себастиан проехал опасный русский анархист — имя рек. Но, с другой стороны, почему им было не сделать так, как они сделали?

Степь, ноябрьским холодком тянет над ней, луна светит бесстрастно. По этим степям ездил Дон-Кихот Ламанчский с тазом цирюльника на голове. Санчо-Панса ковылял за ним на осле. Железной дороги не было, но степь была такой же и почти такие же харчевни давали приют рыцарю, который запоздал родиться.

Степь. Степь. Костер в степи, и на нем котел и у котла люди. Огоньки в степи, одинокие в прохладе и сумраке ноябрьской ночи.

Степь захолмилась. Вагон дремлет под стук колес. В Кадикс, так в Кадикс! Надо заснуть.

За ночь ландшафт совершенно изменился. Степь осталась позади. Мы приближаемся к Кордове. Оливковое дерево, пробковое. Юг! Вся местность холмится. Размеренные пересечения плоскостей придают окрестностям характер спокойного разнообразия. Низенькие домики белого камня под черепицею. Мавританские здания без крыш. Испанский юг.

Понедельник, 13-го. И в пути нет отбою от выигрышных билетов. Удивительное место занимает

лотерея в испанской общественной жизни. Билеты в табачных и иных лавочках, в местах чистки сапог, на руках у газетчиков и газетчиц, даже у профессиональных нищих. О лотерее кричат на всех перекрестках Мадрида, на всех станциях железных дорог. Кажется, что продают ее все, но никто не покупает.

Мысль работает в направлении сравнительного шпиковедения: испанские провожатые и французские. У тех культура выше и, при всей разговорчивости, сильна профессиональная выдержка, есть вопросы, о которых они не выражают мнения или отделываются общими словами. У *этих* нет никаких сдерживающих „принципов“, даже профессиональных. Один — уже знакомый инвалид испано-американской войны, без глаза, грубиян, но сантиментальный, любит опрашивать о семье, гладит по голове уснувшего мальчика крестьянки. Очень обиделся, когда я, еще в Мадриде, сказал на прощанье хозяйке пансиона, что испанцы хороший народ. Мадрид — хорошая столица, но испанская полиция — плохая полиция. Он запротестовал: высшие плохи — начальники, а мы — солдаты. Но и сам он способен на всякие мерзости. Он давил ладонями волошские орехи, точно клещами. И человека задушил бы так же.

Второй, галиго (т.-е. родом из Галиссии), специалист по скачкам и боям быков, по виду опереточный баритон третьего разбора, с большими черными усами вверх, в котелке, болтун, обильно жестикулирует, щелкает языком, изображает губами, усами

и руками всякие знаки, чтобы заставить понять себя... Капризен, жалуется попеременно на холод, жару, усталость, боль в пояснице. Швыряется афоризмами, подобранными на улице: Лондон — город промышленности, Берлин — город науки, Париж — город порока. Оказывается сторонником биологической теории общественного развития: каждая нация переживает периоды юности, зрелости, старости и смерти. В этой теории — прибежище его патриотизма: она утешает его в падении Испании и предрекает гибель ее векового врага — Великобритании. Галиго бесцеремонно отзывается о своем правительстве, и обо всей вообще международной политике, говорит не без меткости, но на языке базарного шулера. Германофил.

Не спеша подвигаемся на юго-запад. После Линареса пересекли впервые Гвадалквивир. Здесь, в верховьях, это грязная узкая речонка, с болотно-желтой водой, которая кажется неподвижной, по крайней мере до Кордовы. Дорога тянется дальше по реке. Движения воды больше, зеленые берега, местами раздваивается, чуть бурлит на поворотах, но в общем все же весьма прозаическая река, вроде Ингула Елизаветградского уезда. Солнце так благородно греет в прозрачной свежести ноябрьского полдня. Кактусы огромные, безжизненные, точно безучастные к солнцу. Местами березы, высокие, без ветвей, с метлами наверху, акации, оливы, пробковое дерево.

Замок стариннейший на высокой скале, недавно обновленный и обитаемый „дуком“ (герцогом)...

Степь, юг, степь.

Наблюдаю в вагоне общительность испанцев, любезность, собственное достоинство, благодушие, но и неряшливость: плюют на пол, бросают под скамьи бумажки и окурки. Это не Германия, не Швейцария и даже не Франция... В вагоне крестьяне, рабочие, полицейские, мещане. Коричневый старик с белой бородой, в грязной шляпе, с ним сын. Бойкая и веселая женщина, как будто торговка, в центре внимания. Нет железнодорожных сцен из-за мест. На станциях нищие под окнами вагонов. Француз, старик 64 лет: Est ce que nous serons victorieux? (победим ли мы?). Говорит по-испански, арабски и знает все немецкие ругательства, начиная со Schveinskopf (свиная голова) и выше. Дрался когда-то в Гарибальдийском отряде. Женат на испанке, едет к дочери.

— Сколь разнообразные люди бродят по земле!

Сопровождающие меня джентльмены непрерывно пристают ко мне, чтоб показать мне какую-либо достопримечательность или чтобы, в качестве достопримечательности, показать другим меня самого. Они трогают меня при этом за колено, за плечо, за рукав, решительно не давая покоя. Сперва я пытался-было установить со шпиками отношения корректно-сухие, не позволяя им фамильярностей. Но из этого ничего не вышло. Надо либо ссориться,— а без знанья языка трудно даже, как следует, поссориться! — либо подчиниться неизбежному.

„Кордовес"— твердые шляпы этой провинции с широкими круглыми полями — очень эффектны.

Пересекаем Андалузию, приближаемся к Севилье — здешние жители считаются самыми красивыми. На этом особенно настаивает галиго. На станциях он окликает незнакомых женщин, чтоб заставить их оглянуться. Andalusiana! — говорит он и сперва сосет кончики своих пальцев, потом развертывает их букетом. Этим он хочет показать, что андалузки заслуживают высшего внимания. Другой шпик утвердительно кивает головой. Попутные уроки пиренейского народоведения.

Понедельник, 4 ч. пополудни. Еще четыре часа езды до Кадикса. Солнце палит, все страдают от жары, а по календарю — 13 ноября. Кактусы, крокусы, апельсиновые деревья, изредка пальмы, белые избушки, белые виллы,— архитектура сел геометрическая, белые кубики без украшений. Более богатые здания с мавританскими башнями, белые стены со сквозными арками. Севилья. Quien no ha visto à Sevilla, no ha visto maravilla! (Кто не видел Севильи, не видел чудес). А это и есть Севилья! Вот поди ж ты... Знакомство с Испанией в принудительном порядке.

Шпики одолевают,— на всех станциях у них коллеги, много коллег, очень общительных, им неизменно показывают меня, они здороваются, спрашивают, подмигивают... Такое впечатление, точно весь мир, по крайней мере, Пиренейский полуостров населен шпиками.

5 ч. 30 м. вечера. Полчаса тому назад показалось на горизонте смутной полосой море и заволоклось. Сно-

ва степь,—по одну сторону ровная и голая, как сухая ладонь, по другую обрамленная вдали возвышенностями Сиерра Марена. Солнце зашло. Над остывающей степью летучие мыши. Густыми пятнами стада овец.

7 часов. Проехали Херес. По заходе солнца запад пылал в багровом пламени. Сейчас уже ночь. Звездное небо, не наше. Большая Медведица вниз сползла, один бок ее над самой землею.

VIII.

В КАДИКСЕ.

Темно. Созвездием фонарей вспыхивает Кадикс на время, поезд делает поворот, город тонет во тьме. Вода и огни. Луч прожектора прорезает небо и исчезает...

На вокзале я троекратно взмахнул газетой — меня ждали два товарища, согласно уговору в Мадриде с секретарем социалистической партии Ангиано. Шпиков было несколько человек: они как бы представлялись мне. Вещи в отеле сдавали молодому Плацидо, которого рекомендовали социалистом. Никто не говорит ни на одном языке, кроме испанского. Тут же товарищи, тут же шпики, все здороваются за руку, я в суматохе их друг от друга не отличаю. Пошли скопом в губернское правление. Там назначили: завтра в 9 часов утра представиться губернатору. Ну, что ж: иркутскому представлялись (был такой случай) — представимся кадикскому. Пошли ужинать: я, два кадикских социалиста и младший шпик. Он сел с нами за стол, спросил себе чашку кофе и настойчиво советовал какую мне есть рыбу. При этом

объяснил, что сам префект приказал ему обращаться со мной, как с другом. Так и запишем.

Вторник. Утром со шпиком ходил на почту. После того посетили префекта. „Друг“ оказался низкорослой сумрачной фигурой, южным флегматиком, из тех, про кого трудно сказать: облобызает или укусит. При мне ему принесли набор воровских инструментов, только что отобранных. Он любезно мне показал добычу, как бы свидетельствуя этим, что, по глубокому его мнению, у меня с подобными инструментами не может быть ничего общего. Тем не менее он объявил мне, что я завтра же должен уезжать в одну из американских республик. В какую именно? Я ответил, что намерен ехать в Нью-Иорк. Префект как будто согласился, но, собственно говоря, лишь в принципе, так как, по его словам, выходило, что я должен ехать сейчас, inmediatamente,— а парохода в Нью-Иорк нет до 30-го. Как же быть? Посоветовавшись с губернатором (а может быть и не советуясь), префект заявил, что я завтра утром, в 8 часов, буду отправлен в Гавану, куда по счастливой случайности как раз завтра идет пароход.

— В Га-ван-ну?

— В Гавану!

— Я добровольно не поеду.

— Мы вынуждены будем вас посадить в трюм.

В качестве переводчика при этом объяснении служил толстый, точно наливной немец, совсем лысый, несмотря на молодое лицо. Тот посоветовал

мне sich mit den Realitäten abzufinden (т.-е. считаться с реальностями) и как-то при этом ко мне принюхивался (высланный из Франции „пацифист“!).

Я бегал со шпиком на телеграф по улицам очаровательного города, мало замечая их — и давал телеграммы „урхенте“ (срочно) Депре, Ангиано,



директору охраны, министру внутренних дел, гр. Романонесу, либеральным и республиканским газетам, мобилизуя все доводы, какие можно вместить в пределы трехфранковой депеши. Потом рассылал во все концы открытки. „Представьте себе, дорогой друг,— писал я Серрати,— что вы находитесь сейчас в Твери под надзором русской полиции, и что вас

намерены выслать в Токио,— куда вы совершенно не собирались,— таково приблизительно сейчас мое положение в Кадиксе, накануне отправки в Гавану". Потом мчался со шпиками к префекту. Потом опять на телеграф. И опять к префекту. Тот в свою очередь телеграфировал в Мадрид, что я предпочитаю оставаться в кадикской тюрьме до нью-йоркского парохода, чем отправляться в Гавану. Теперь жду ответа, прогуливаясь со шпиком по улицам Кадикса, по набережной, по парку, по аллее пальм. Надо бы все-таки где-нибудь почитать, что это такое — Гаванна?

Среда, числа как-то растерял. В 6 час. утра — еще совсем темно было — бурно постучались в дверь. Приподняв голову, спрашиваю, кто там? Оказывается, шпик что-то бормочет по-испански. Неужели уже за мной пришли? Я стал протестовать на языке, который тут же спросонок создавал. За дверью смолкло. Сообразил: это шпики сменялись и при смене хотели удостовериться, что я не сбежал; дверь была заперта изнутри.

Сегодня решающее утро. Жду решения и принудительно знакомлюсь с Кадиксом. В магазине мне сдали с 50 франков серебром: здесь вообще в ходу много серебра. Я сгреб в кошелек 8 пятифранковых монет, но одна выскользнула на пол — о, удивление — почти без звука, точно деревянная. Оказалось, фальшивая. Проверив остальные, нашел еще одну такую же. С благодарностью вспомнил о мудром гиде Жуан, который на первых же страницах повествования об

Испании рекомендует испытывать каждую серебряную монету на звук.

Лаллеман сообщил мне около 10 час., что я не поеду с этим пароходом, так как списки все закончены, и я не внесен в них. Сейчас уже 11 час.— за мною никто не приходил,— стало быть верно?

Какая погода! Солнце жжет, а воздух осенний прохладен, как освежающий напиток, небеса голубы. После напряжения вчерашнего дня — апатия. Почти жалею, что не уехал утром... По крайней мере, была бы определенность.

У префекта. Сообщает с наигранной улыбкой, что пароход тем временем ушел, и он ничего не мог со мной сделать, ибо не имел „инструкции“. Намекает на то, что обошел начальство, чтоб оказать мне услугу. Но по какой собственно причине? Гм... этому флегматичному на вид испанцу не следует класть в рот палец... Не пересолил ли он сперва со своим губернатором, а потом не выдал ли за великое одолжение то, на что я имел право с самого начала? Или... или: не хочет ли он взятки? Значит, останусь до 30-го? Или уловка?

Оказалось: не ушел пароход из-за тумана, por la niebla. А что, если тем временем придет инструкция? И туман против меня. Телеграфировать больше некуда. Остается ждать вестей... Поистине, все в тумане.

По книжным магазинам Кадикса в сопровождении шпика и префекта. Науки вряд ли процветают в этом историческом городе. Хотел купить карту

Атлантического океана, англо-французский и испано-немецкий словарь. Нью-Иорк? Гаванна? Во всех книжных магазинах престарые старики. Сперва они недовольны, что их потревожили, потом входят во вкус, начинают переворачивать свои богатства — медленно, спокойно, тщательно устанавливая каждую книгу обратно. В конце концов не находят того, что мне нужно, за исключением разве полинявшей морской карты 1846 года. Зато шпик обращает мое внимание на испанскую книгу о твердости воли,— такой труд, по его мнению, заслуживает моего внимания.— Философия! —говорит он несколько раз и поднимает вверх руку бездельника.

Туман благополучно разошелся, и пароход ушел по назначению.

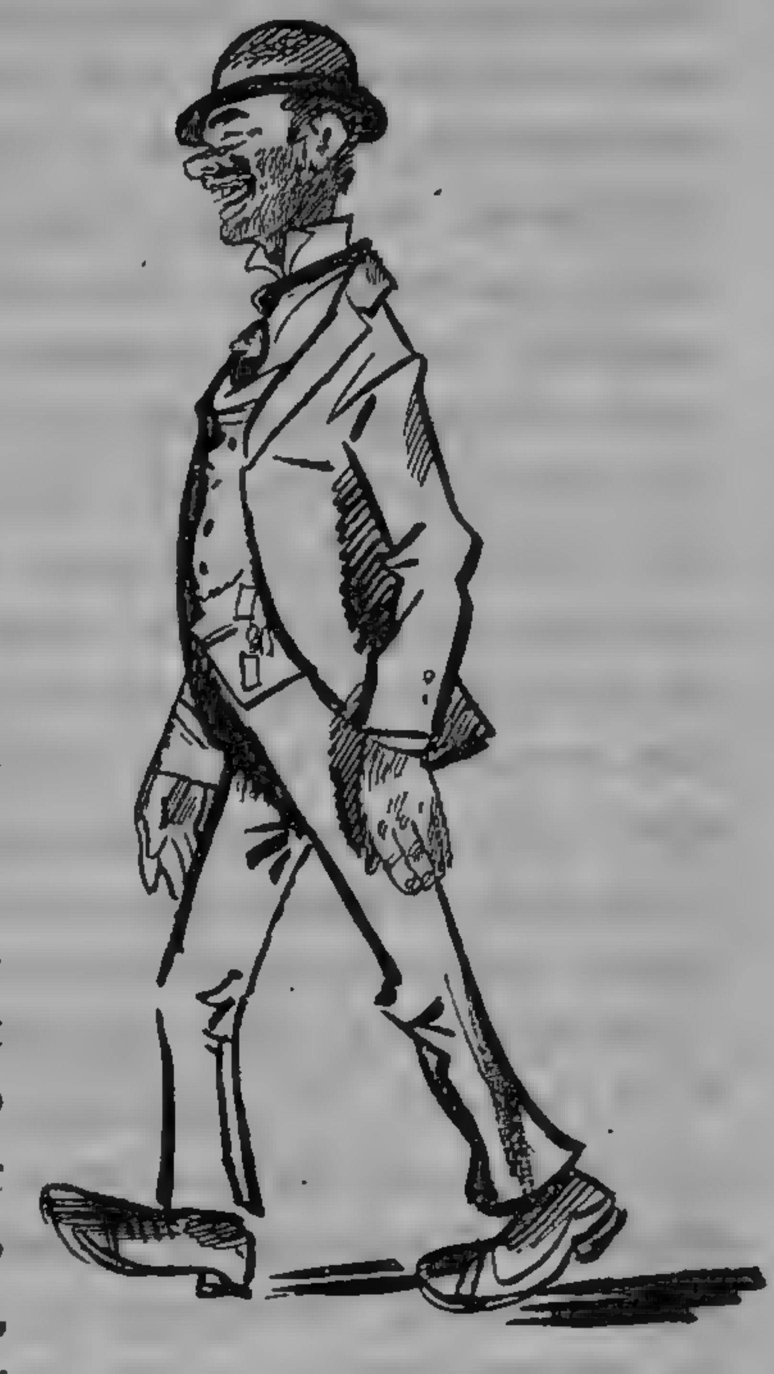
В три часа шпик отлучился на обед, спросив у меня, так сказать, разрешения.

Стало быть, придется задержаться на кадикском этапе.

Когда я ужинал, шпик сидел возле меня, вроде гувернера (мы вдвоем с ним в ресторане,— больше никого), предлагал мне то или иное блюдо, хлопал в ладоши, чтобы позвать гарсона.

Когда я ходил к страховому агенту Лаллеману, обиспанившемуся французу, через которого шла связь с Депре в Мадриде, шпик входил в дом со мною, совершенно так, как будто это в порядке вещей. Он вмешивается в беседу, когда хозяин отеля, оскорбленный испанский патриот, заявляет, что правительство никуда не годится.— Правильно, не годится,—

подтверждает шпик. Нужно вообще сказать, что самый оппозиционный элемент в Испании — это полицейские тюремщики и шпики. — По вине бездарных правительств,— продолжает республиканец,— от нас отняли Бельгию (когда еще это было!), нас отовсюду оттерли и свели на положение третьестепенной державы. Почему? Потому, что уже три столетия мы находимся под правительством, которое никуда не годится. Нам нужна республика! — С этим шпик не согласен: он за власть Мауры.



Трудно себе представить шелопая более глупого и дрянного, чем этот субъект. Он плохо читает по-испански, говорит невнятно, курит, плюется по сторонам, ржет на всех проходящих девиц, подмигивает, машет руками и не дает мне покоя. Его внешний вид: рыжая „тройка“, крахмальный воротник с отгибами у кадыка, булавка с лошадиной головой, брелоки по жилетке и огромные руки шелопая, зря висящие из рукавов. Он не следует за мной,

как полагалось бы уважающему себя шпику, и даже не идет рядом, а норовит всегда ввинтиться в меня или, по крайней мере, прилипнуть к моему рукаву — из дружбы, не из профессионального рвения, а из дружбы. Это невыносимо. Когда проходит солдат, он обращает мое внимание: — El soldado. Когда собака останавливается у фонаря, он говорит: — El perro, и дергает меня за рукав. Встречая по утрам, он неизменно спрашивает:— Cómo ha dormido Usted? (как спали?) Чтоб было понятно, он плотно напирает на меня. Непрерывно курит крепчайший табак и непрерывно плюется.— A dónde qué Usted deseare? (куда вам угодно?) – спрашивает он меня на каждом перекрестке. Когда я пью кофе или пиво, я вынужден угощать его. Он указывает гарсону, сколько налить мне молока и сколько кофе, хотя я никогда не объяснял ему своих на этот счет вкусов. Чтоб развлечь меня, он ссобщает мне, что Поинкаре (так он произносит) состоит президентом французской республики. Я не возражаю. Он спрашивает моего мнения о царе. Я уклоняюсь. Он переходит на испанскую политику и говорит, что Маура (известный мракобес, идол палиции) — hombre de la ciencia, en-cy-clo-pe-dis-ta (человек науки, эн-ци-кло-пе-дист). Последнее слово он выговаривает в три приема, с сопеньем, точно открывает тугие ворота. Чтоб исправить впечатление, он пытается быстро повторить коварное слово, но сворачивает в сторону и у него выходит „энклопецидиста". Я успокоительно киваю головой, и инцидент считается исчерпанным. О Дато и особенно

о Романонесе, либерале, выражается с полным презрением и каждый раз возвращается к Маура, hombre de la ciencia. Я устал от этой прогулки невыносимо и едва вбежал в свою комнату.

Его коллега умнее, тоньше и коварнее: принимает свои меры против возможного моего побега и записывает в книжку, кому я даю телеграммы, читая адреса через мое плечо. Но надоедает мне меньше.

Префект сообщил, что ответ из Мадрида удовлетворителен: ждать до 30 ноября парохода в Нью-Йорк. Объяснил, что это результат его заступничества, просил заходить к нему и быть „другом". Насчет заступничества сомнительно,— помогли, очевидно, мои телеграммы, ходы Депре и проч. Но почему собственно я нашел друга в кадикском полицмейстере? Вот уж подлинно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. „Друг" просил не писать ничего в газеты: я обещал. В конце концов мои отношения с этими людьми в этой стране внеполитичны: я пью кофе со шпиком, префект числится моим другом, немецкий вицеконсул моим добровольным переводчиком.

Мадридская газета „Accion", требовавшая, чтоб меня не выпускали из тюрьмы, является консервативным органом, т.-е. примыкает к партии Мауры, которого мой шпик рекомендует, как энциклопедического человека науки. Мауристы по существу германофилы, но выступают за нейтралитет, против республиканцев, которые за интервенцию, и против либералов, которые под флагом нейтралитета гнут в сторону Франции. Казалось бы, мауристы могли

отнестись ко мне нейтрально, как к высланному из Франции „пацифисту“, но нет, их печать увидела во мне прежде всего „внутреннего“ врага. Вступились за меня социалисты и отчасти левые республиканцы,— Кастровидо внес запрос в парламенте,— и те и другие крайние франкофилы. Таким образом и у левых соображения внутренней политики оказались господствующими, как и полагается в нейтральной и достаточно провинциальной Испании.

Возвращались со шпиком. Он обращал по пути внимание мое на разные встречные вещи, потом перешел на телеграф и радостно сообщил, что существует уже беспроволочная передача: телеграммы идут просто по синему небу. Я поддержал эту мысль кивком головы. — Это сделал Марконид, — заявил он далее, — вот голова.— И он постучал рукой бездельника по черепу глупца. — Это не иностранец, а наш, испанец.

— Нет, Маркони — итальянец.

— Итальянец? — всполошился он. — Нет, испанец,— повторил он, скорее для поддержания национального достоинства без настойчивости. Я тоже не спорил, и мы пошли дальше.

Вечером, после 8 час., гулял один по Кадиксу. Никого рядом со мною, ни неотступных шагов за мной. Хорошо... Улицы плохо мощены, запахи Испании (масло, пряности), балконы, старики, дремлющие на скамейках, множество цирюлен и чистилен, женщины на порогах, женщины на балконах, солдаты, гитара, игра в домино в мастерских, много беспечной бедности — беспечность от тепла — много пестроты и шума.

Я обошел пешком — один! — старую бедную часть города, с узкими улицами,— везде тяжкий запах оливкового масла, вина, чесноку и человеческой нищеты, – потом вернулся к себе, чтоб успокоить шпиков, но никого из них не было. Я пошел разыскивать английскую кофейню (по гиду Жуана) и... застал в кофейне друга,— префекта. Он мне начал делать из-за своего стола ручкой. Я сперва было не узнал его. Он подошел, участливо справился, буду ли я кофе пить или пиво и, благодарение судьбе, не пригласил к своему столу, где сидело несколько испанцев. В кафе играла музыка.

Испанец с двойным подбородком и пробором через лысину играл на скрипке и спокойными полудвижениями жирных рук руководил оркестром из четырех человек. Другой играл на гитаре, третий еще на чем-то. Тяжелая испанка с массивными серьгами временами пела и обходила публику с тарелкой. За одним столиком сидел я, за другим — префект с компанией. Больше никого не было. Я клал медную монету, испанцы не давали. Музыка резкая, ритм — дергающий.

С каким удовольствием возвращаюсь из английской сервесерии один, без провожатых. Тусклые фонари держат город в полутьме. Морская влага легла легким покровом на камни. Одинокие прохожие расходятся по домам. Там и здесь силуэты ночных сторожей с фонариками в руках. Декорация старой оперы. Тихо, особенно на моих улицах. И все тише... Только по середине мостовой идет слепой газетчик

в мягких туфлях, опираясь рукой на маленького мальчика, и выкрикивает свой товар. Он вопит оглушительно и все громче. Но на улице никого. Слепому газетчику отвечает мгла да тишина... Да, из глубины узких и темных улиц раздается вдруг надорванный ослиный крик.

Мой хозяин, свеже выбритый и как бы выпивший — он, впрочем, всегда в хмелю своих бесформенных, но острых антипатий к правящим, что не мешает ему, впрочем, писать крепкие счета,— с негодованием показывает мне телеграмму в „Correspondencia de Espagna“, гласящую, что псевдо-анархист (таковое теперь мое звание!) имя рек, прибыл в Кадикс, оставлен на свободе и живет в гостинице Кубана. „На свободе!— рычит республиканский харчевник,— это все для того, чтобы помешать интерпелляции республиканца Кастровидо. Знаем мы этих...“ Он ругает последними словами испанское правительство, прихватывая по пути и царя, стучит по столу, сдвигает на затылок, потом на лоб, потом снова на затылок, свою каскетку и непрерывно теребит меня за рукав, мешая есть отварную свеклу. За соседним столом восьмидесятилетний старик, совсем слепой, развивает республиканские взгляды хозяйке отеля, которая, не слушая его, подшивает полотенце.

15 ноября. С утра шпик вовсе не приходил. Демонстрация? Или запил? Справиться бы, страдают ли испанские шпики запоем. Да на беду и справочника такого нет.

Вчера шпик сказал, что придет сегодня в 9 часов утра. Я прождал его до 10, затем ушел. Приходится заботиться, чтоб не потерять шпика. Все наизнанку.

Улица Duque de Tetuan, герцога Тетуанского — солидная улица, на которой много каких-то странных учреждений; в широкие окна видна устойчивая кожаная мебель, столики с газетами, плевательницы возле каждого кресла, а в зазывающе раскрытую дверь первой комнаты виден следующий зал с зелеными столиками. На вывеске ничего. Но дверь гостеприимно раскрыта. Таких внушительно обставленных учреждений на этой улице не менее десятка. Очевидно, благородные притоны карточной игры. Но играющих не видно. По ночам, что ли?

Хожу один по городу. Хорошо! — Собор. Служитель предлагает осмотреть катакомбы. Неохота уходить от прекрасного кадикского солнца. Море. Свет. Свежесть. Пальмы.

Вот те и на! Не только сегодняшняя моя дообеденная, но и вчерашняя вечерняя прогулки были „незаконны". Шпик сказал мне сегодня сумрачно и внушительно, что, если я хочу гулять и после ужина, то он придет, хотя намекнул, что и он собственно человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Стало быть, он надеялся, что я буду сидеть до ночи в своей дыре. Нет, это не Париж. Там я затрачивал в течение двух последних месяцев немало энергии на то, чтобы уйти от шпиков, — уезжал на автомобиле, входил в темный кинематограф, вскакивал в самый

последний момент в вагон метро и пр. и пр.— они тоже не дремали, всячески изощряясь в погоне за мной по городу: перехватывали автомобили, выле-



тали, наподобие бомбы, из трамвая и метро, к возмущению кондукторов. Все это имело видимость борьбы, и во всяком случае не налагало на меня никаких „обязательств“ по отношению к сыщикам.

А здесь шпичек объявляет, что вернется в таком-то часу, и я должен его послушно ждать. В свою очередь он твердо и даже неистово отстаивает мои интересы. Очень заботится, чтоб я не споткнулся и не испачкал себе сапог. С этой целью обращает мое внимание на все выбоины тротуара. Когда разносчик запросил с меня два реала за дюжину вареных крабов, шпик поднял шум, бранился, угрожающе махал руками и, уж когда продавец крабов вышел из кафе, догнал его и поднял под окнами такой крик, что собралась толпа. К этому времени крабы были благополучно съедены. То же он устроил вчера утром с чистильщиком, решив, что тот не сообщил одному из моих сапог надлежащего блеска.

А ведь война там где-то за Пиренеями продолжается. В Париже ежедневно просматривал около 20 французских и иностранных газет. Здесь почти совсем не читаю. Вот что значит архи-нейтральный Кадикс со своим солнцем и морем.

Вчера кавалер Казеро, несмотря на мой ответ, явился ко мне с секретарем немецкого консульства. Оказывается, предпримчивый журналист успел уже побывать у Лаллемана, якобы от меня, но тот не мог прийти с ним ко мне или не хотел.

Секретарь консульства, гладкий немец, начал с того, что хочет устранить всякие недоразумения. Тут и так уж говорят, что я получил деньги из немецкого консульства...— Как так?— Да, да, хозяин отеля Кубана, недовольный тем, что я покинул

его республиканскую берлогу, распространяет слухи, что некий немец, очевидно, из немецкого посольства, приносил мне деньги. На самом деле деньги, переведенные из Мадрида, приносил испанец французского происхождения, ярый франкофил, по фамилии Лаллеман, что по-французски означает немец. Сын хозяина Кубаны состоит на грех сотрудником республиканской газеты „El Pais“, легко может статься, что „El Pais“, до сих пор защищавший меня, ныне откроет против меня атаку. Неожиданный переплет из отельного счета и республиканского знамени... если верить секретарю немецкого консульства. Кавалер Казеро, редактор еженедельника под замысловатым названием, отобрал кое-какие сведения, особенно насчет высылки из Франции, и уходя заявил, что придет на другой день с фотографом, чтобы послать снимок в Мадрид: надеется, что в результате его публицистических выступлений высылка будет отменена. Визит германофильского испанца со штатным немцем произвел почти загадочное впечатление...

Сегодня утром был Лаллеман. Сообщил, что Казеро со своим журналом не имеет никакого влияния, промышляет всем, в том числе и шантажем. Хочет с меня, очевидно, получить за интервью и фотографию 100 фр. Кавалер в таком случае жестоко ошибется в своих расчетах. Пронюхал он это сам или нет, но сегодня больше не являлся, хотя вчера грозил еще интервьюировать меня насчет французских финансов, независимости Польши и иных высоких материй... Кстати, Лаллеман видел мой „кон-

дуит“, присланный из Мадрида: мне дается весьма удовлетворительная аттестация. Очевидно, испанская полиция состоит сплошь из „друзей“...

Вечером два испанских офицера играли в шахматы в вестибюле отеля. Расположение фигур казалось исключительно интересным. Игроки застыли в напряжении. Наконец, белые продвинули вперед короля — под черную пешку. Со словами — „шах и мат“, черные схватывают вражеского короля, и партия закончена. Арабы, бывшие владыки Испании и мастера шахматной игры, очевидно не завещали своего искусства этим доблестным воинам короля Альфонса.

Шпичек сообщил мне на прогулке, что его дед был гранд, имел много золота, а отец состоял другом Альфонса XII, но что сам он — увы — pobre, беден, получает всего 1.000 песет в год (он сказал 3.000 реалов — это звучит лучше!), а префект получает 9.000 реалов. Так как я реагировал на эту тему слабо, то шпик удвоил настойчивость. Оттопыривая нижнюю губу и мотая возмущенно головой по адресу негодного правительства, он повторял: $83^1/_3$ песеты в месяц, ему, потомку того предка, который был другом Альфонса XIII! Да, плата небольшая. Тем не менее за эту цену он готов перегрызть горло любому испанскому рабочему, который получает, примерно, столько же.

Памятник Морету. „Patriotismo“—читает шпик надпись на лицевой стороне и внушительно глядит на меня. „Libertad“ читает он под тыльной стороной Морета — и поднимает вверх палец.

Есть еще в Кадиксе памятник „республиканцу" Кастеляру, благополучно, кажись, примирившемуся в свое время с монархией.

Cristobal Colon — кто бы это был? Долго не догадываешься. — Ба, да ведь это Христофор Колумб!

Зелено, тепло, солнечно, а из Парижа пишут: „вторую неделю холод, дожди со снегом, туман, мразь".

Перед губернским правлением в центре обширной площади, подле набережной, ставится огромный и сложный памятник Кортесам, руководившим борьбою против французов. Постамент уже поднялся высоко. Аллегорические каменные фигуры в большом числе на земле. Шпик сбивчиво, но настойчиво разъясняет мне их смысл.

— А нет ли среди них изображения тех патриотов, которых Фердинанд VII истребил после того, как они отвоевали для него трон?

Шпик таращит глаза. Его исторические познания не идут дальше Альфонса XII, при котором дед шпика имел множество песет и реалов.

Немножко социальной статистики. В течение получаса, что я провел сегодня в кафе за чаем, мальчишки предлагали мне двенадцать раз „А б с", мадридскую иллюстрированную газету, четыре человека навязывали мне лотерейные билеты, три нищенки просили милостыню, три разносчика предлагали вареных раков, два — какие-то таинственные сладости, и если чистильщики сапог не делали мне никаких предложений, то только потому, что один из них обрабатывал все время мои сапоги.

IX.

РАЗГОВОРЫ, КНИГИ.

Старая испанская поэма повествует, как неверные сарацины разбили благочестивых испанцев.

Vinieron los Saracenos
Y nos mataron a palos;
Pues Dios esta por los malos
Quando son masque los buenos.

Пришли сарацины
И разбили нас на голову,
Ибо бог вступается за злых,
Когда их больше, чем добрых.

Это совсем хорошо сказано, и римский папа, у которого немало чад в обоих воюющих лагерях, руководствуется, надо думать, той же самой мудрой тактикой. Во всяком случае, известный афоризм Наполеона: „господь бог всегда на стороне более многочисленных батальонов“ оказывается плагиатом, ибо та же мысль гораздо ярче выражена доном Герардо Лобо еще при Филиппе V.

*

Молодой испанец, чему-то учившийся, где-то бывавший, досужий, недовольный, разговорчивый, подошел на пристани с приветом, и после того встречаемся почти каждый день. Он разыгрывает из себя скептика, — ему должно быть 22 года, — и говорит о своем отечестве в тоне совершенной безнадежности.

— Мы должны исчезнуть с лица земли. Испания везде отстала. Во всем декаданс (упадок). Мы владели миром. Сейчас мы третьестепенная держава. Ужасающее невежество. Нет индустрии. Наши студенты не учатся. Никто ничего не делает. Если города тратят деньги, то на plaza de toros*), а не на порты, не на школы. В Андалузии 90% безграмотных. У нас есть поговорка: голоден, как народный учитель.

— Вывести из этого положения нас могла бы только республика, а привести к республике могла бы война. Война была бы спасеньем для Испании: она вырвала бы нас из застоя. Но к войне мы не готовы. Срамиться в войне мы не хотим. Вот почему я говорю: мы погибли...

— Вы хвалите нас. Все иностранцы, приезжающие к нам, хвалят нас. Мы гостеприимны, общительны. Это наследие нашего старого богатства. Когда мы были могущественны, мы выработали себе манеры широкие, великодушные. Теперь у нас только и осталось что эти манеры. Хуже всего то, что мы не

*) Арена для боя быков.

верим в собственное спасение. Мы не верим ни в какие идеи. Мы, испанцы — скептики. Все партии нас обманывали, каждая в свою очередь.

— Деньги. Нет идей — все за деньги. Вся наша политика основана на этом (движение пальцами, очень общее всем испанцам и выражающее хватание или щупание). Выборы? Основаны на песетах. Граф Романонес? Вся его сила в деньгах. Один из самых богатых людей в Испании. Он даже короля ссужает деньгами. Только этим и правит.

— Пресса? У нас не верят прессе. Есть хорошие журналисты, которых знают, но честных, таких, которым верили бы,— нет. Все убеждены, что пресса, как и политика, основаны на этом (движение пальцами).

— Научная и учебная работа ведется кое-как. Студенты ежегодно устраивают забастовки по произвольным поводам, чтобы приблизить каникулы. Более серьезный характер имеет требование студентов об отмене местных учебников. Борьба вокруг этого вопроса очень характерна для состояния нашей университетской науки. Молодой профессор составляет наспех „свой“ учебник, т.-е. из десяти плохих делает одиннадцатый никуда не годный, и продает, как обязательный, своим студентам. Никто из авторов и не помышляет о том, чтобы учебник вошел в обиход во всей стране. Это просто местный и персональный налог на науку.

— Кто у нас национальный герой? Хуан Бельмонте, торреадор. Я его знал несколько лет тому назад землекопом и разносчиком плохих апельсинов.

Теперь он богат, знаменит, идол,— иначе его не называют, как fenomeno. Спросите испанца на улице, кто у нас военный министр, или председатель кортесов? Вероятнее всего, он вам не ответит. Но спросите любого, кто таков Бельмонте? Он во всех подробностях расскажет его биографию.

— А кто, кстати, у вас военный министр теперь?

— Военный министр? Да... военный министр — генерал Луко, да, конечно, он...

— Хуан Бельмонте. Какая у него ступня (подробности). Это торреро, который может в последний момент плюнуть на быка. Для чего? Зачем? Чтобы показать, что у него горло не пересохло от волнения — высший признак самообладания! Галстуки Бельмонте! Шляпы Бельмонте! Испанцы стригутся под своих фаворитов — aficionados. Есть плешивый торреадор — полунегр,— его партизаны бреют голову. За последнее время все это не ослабевает, а усиливается. Король останавливает автомобиль, чтоб приветствовать торреадора. Богачи ему покровительствуют. В свою очередь и Бельмонте покровитель: через него хлопочут. Секретарь министерства собирается за него выдать дочь. Если в Испании есть справедливость, так в торрео.

— Даже сторонники свищут фавориту, если он не в ударе, и, наоборот, аплодируют противнику... Не едят, не пьют, закладывают платье, чтобы посетить торрео. Как жаль, что теперь не temporada *), и вам не удастся повидать Бельмонте. Я не заражен нашей

*) Сезон для быков.

национальной страстью, но Бельмонте действительно феномен.

— У нас все думают, что после войны будут большие перемены. В чем? Во всем. А так как для Испании возможны перемены только к лучшему,— к худшему некуда,— то испанцы доверяют этим переменам и ждут их. Может быть, сильные станут слабее, а слабые сильными. Но я этих надежд не разделяю. Я пессимист.

X.

Аутс-да-фе удосужились отменить, а бой быков сохранили. Между тем в бое быков немногим меньше варварства, чем в сожжении ведьм. Борьба за отмену боя быков насчитывает столетия. В начале девятнадцатого века (1805 г.), во время борьбы с Наполеоном, Карл IV запретил „наконец“ бои быков. Французский автор Бургоэн писал в те времена по поводу запрета: „Эта мужественная реформа делает честь правлению Карла IV и свидетельствует о мудрости его первого министра. Все и вся будут, без сомнения, в выигрыше от этого: промышленность, земледелие и нравы“ *). Но гроза великой революции стихла, и бои быков нашли свою реставрацию — одновременно с тем, как коронованные быки возвращали себе европейские троны. И теперь, 111 лет спустя, от „мужественной реформы“ не осталось и следа.

---

*) Tableau de l'Espagne moderne par I. Fr. Bourgoing, Paris 1807, 4-e édition (V. 2, p. 417).

Как филистеры склоны верить в отвлеченный прогресс. И как медленно тащилась в прошлые века его несмазанная телега. Единицы или группы достигали поразительных высот уже в древнейшие времена. А массы?..

Мальчики Мурильо, босоногие оборвыши, искатели вшей. Они и сейчас те же: сквозные дыры, грязные носы, вши в черных волосах. В 1680 г. — последнее публичное ауто-да-фе на Plaza Mayor в Мадриде. Балконы ломились от жадных зрителей. В благочестивой Севилье была сожжена женщина ровно 100 лет спустя, в 1780 г., следовательно за 9 лет до Великой Французской Революции.

Очень-очень медленно движется скрипучая телега прогресса, особенно в Испании, которая больше чем какая-либо другая страна живет вчерашним днем. Католицизм долго был знаменем в борьбе с сарацинами и крепко въелся в нравы. Инквизиции нет, на кострах не сжигают, но в Кадиксе есть газета („El correo de Cadiz"), на которой значится: con cenzura eclesiastica, т.-е. выходит под церковной цензурой. Благочестивая газета печатает по поводу дороговизны статью, в которой укоряет дорогих сограждан в том, что они больше интересуются ценою баранины, чем спасением души (La salvacion de nuestra alma). Это обличение превосходно звучит в дни великой людской бойни, когда у самых католических народов человеческое мясо стало много дешевле баранины. Бедная католическая душа, которую заставляют нюхать иприт или накрывают сверху снарядом в 50 п.

весом. Но на этот счет вы тщетно стали бы искать сведений в испанских газетах. Кадикские поступают особенно находчиво — они вообще ничего не сообщают о войне, как-будто бы ее не существовало. В конце концов воюют далеко за Пиренеями, и французская пальба не заглушает звуков мессы. Когда я обращал внимание туземных собеседников на полное отсутствие военных бюллетеней в самой распространенной кадикской газете („El Diario de Cadiz“), мне отвечали удивленно: „Неужели? Не может быть... Да, да, действительно“. Значит, раньше не замечали.

★

В 1777 г. будущий французский полномочный министр при Мадридском дворе Бургоэн в качестве секретаря посольства въезжал в Испанию на шести мулах. Он написал об этой стране большой труд, который выдержал четыре издания. Первое вышло в год Великой Французской Революции. Посол старой Франции отнюдь не лишен наблюдательности. Его труд и сейчас выше того, что пишут об Испании иные лощеные французские академики. Во всяком случае Бургоэн читается с интересом, особенно, если человек случайно застрянет в Кадиксе, ожидая парохода на Нью-Иорк. „С того времени, как Европа цивилизовалась с одного конца до другого, — читаем мы во втором томе — обитателей ее надлежит скорее распределять по профессиям, чем по нациям. Так, отнюдь не все французы, не все англичане и не все

испанцы походят друг на друга, но лишь те из них, которые внутри каждого из этих трех народов получают, примерно, одинаковое воспитание и ведут примерно одинаковый образ жизни. Так все их юристы сходны по своей приверженности к форме и страсти к кляузе; все их эрудиты сходственны своим педантизмом; все их коммерсанты — своей жадностью, все их матросы — грубостью, придворные — гибкостью". Этими словами Бургоэн хочет опровергнуть ходячее представление об Испании, как о совсем особенной фантастической стране.

Но Бургоэн умеет подмечать и действительные национальные особенности, ища их корней в истории. „В ту эпоху, — говорит он, — когда Испания играла столь великую роль, когда она открывала или завоевывала новый мир, или, не довольствуясь господством над значительной частью Европы, возбуждала и потрясала другую ее часть своими интригами и военными предприятиями, в эту эпоху испанцы пропитались той национальной гордостью, которая излучалась из их внешнего обихода, из их жестов, из их слов". Времена владычества и мощи Испании были уже и для Бургоэна прошедшими временами; но они оставили свой след в национальном облике страны. „Испанец XVI столетия исчез, но его маска осталась. Отсюда эти черты гордости и важности, которые отличают его еще и в наши дни".

Французский посол оспаривает мнение, будто леность является отличительной чертой всего испанского народа. Он ссылается на оживленную деятель-

ность, которая господствует на берегах Каталонии в королевстве Валенсии, в городах Бискайи, „всюду, вообще, где промышленность находит поощрение“, Вспоминаются слова Депре, что 15 испанских служащих управляемой им конторы делают ту же работу, что и 15 французов; но в то время, как для этих последних достаточно трудовой дисциплины, испанцев нужно уметь заинтересовать или увлечь соответственным обхождением.

XI.

Кадикс — весь в прошлом еще в большей степени, чем Испания в целом. Это не так чувствуешь, пожалуй, в порту и на улицах — время войны все же исключительное время и для Кадикса, — как в книжных магазинах и особенно в главной библиотеке Кадикской провинции. Старое здание, с холодными, влажными ступеньками, с некрашеными досчатыми полами, без солнца и без посетителей. Единственный библиотекарь и единственный сторож насчитывают совместно не менее полутораста лет. История библиотеки как бы оборвалась в первой четверти прошлого столетия. Совсем ничтожно количество книг более позднего времени. За последние 10 — 20 лет нет почти ничего, кроме бюллетеней официальной статистики, да и то разрозненных. Зато немало старых фолиантов, книг XVIII века и более ранних. Во всем книгохранилище одна немецкая книга, десятка два французских, зато много латинских.

Сторож приносит мне по спискам книгу за книгой, и уже один внешний вид их свидетельствует,

что их давно не касалась человеческая рука. Это все преимущественно старые работы по истории Испании и, в частности, Кадикса. Здесь в первый раз мне посчастливилось убедиться на опыте, что книжный червь не есть только образное выражение. Большинство тяжелых томов, отпечатанных на старинной доброкачественной тряпичной бумаге, методически изъедено ученым червем, которому жители Кадикса предоставили достаточно широкий срок для работы. И какой искусной работы, какой точной, какой педантической! Цилиндрические ходы сложными кривыми поднимаются вверх, спускаются вниз. В зависимости от направления хода, отверстие имеет на странице круглую или эллиптическую форму. Читателю эта работа загадывает головоломные загадки, особенно когда червь унес с собою цифру или часть собственного имени.

В библиотеке тихо. Сквозь толстые стены почти не доносятся звуки извне. Часы библиотечные стоят — с какого времени? не с середины ли прошлого столетия? Шпик сидит за тем же деревянным столом и сосредоточенно отплевывается. Наконец, он не выдерживает ученого томления. Из соседней комнаты раздается хриплый шопот: шпик беседует со стариком сторожем. Шопот отвлекает от книги, и я слышу: Hombre de la ciencia... en-cy-clo-pe-dis-ta... К кому на сей раз относятся вещие слова: к поднадзорному, или все к тому же Маура?

Но шпик скоро уходит на крыльцо курить, — становится совсем тихо. В этой особой биб-

лиотечной тишине ухо ловит работу книжного червя.

...„Но что придает Кадиксу особливое значение, что уподобляет его самым великим поселениям ми-



ра,— читаю я в старой книге,— это огромность его торговли. В 1795 г. здесь насчитывали более 110 собственников кораблей и около 670 торговых домов, не считая розничных торговцев и лавочников... В течение 1776 г. в порт Кадикса вошло 949 кораблей". „Нации, которые имели в Кадиксе наибольшее

число торговых предприятий, суть ирландцы, фламандцы, генуэзцы и немцы, из которых первое место занимают гамбуржцы". „Контрабанда, одно имя коей заставляет дрожать испанское правительство, не имеет более блестящего театра, чем порт Кадикс". В 1799 г. Кадикс насчитывал 75.000 душ. „Место встречи богатств двух миров, Кадикс обладает почти всем в изобилии". В 1792 г. Кадикс отправил в обе Индии товаров на 270 миллионов реалов и получил обратно на 700 миллионов... Вот о каком пышном прошлом рассказывает кадикская библиотека.

Вчера (22-го) в кинематографе дивился страстям испанской публики. На экране касса с револьвером, и к этой кассе приближается неосведомленная героиня — из публики вопль предупреждения. История повторяется, когда к кассе подходит почтенный отец. Но вот враг семьи нарывается на револьвер — из зала несется вой злорадства. Что же творится на боях быков? Да, жаль, что теперь не temporada.

Вернувшись в отель, застал в вестибюле танцы и фанты. Несколько молодых офицеров, девиц и дам, настойчивые ухаживания, вернее приставанья. Наивные и карикатурные провинциальные нравы, первобытные под мещанской политурой.

26 ноября. Воскресенье.

Старый английский историк Испании Адам*) в четырех томах, особенно тщательно изъеденных

*) Histoire d'Espagne depuis la découverte qui en a été faite par les phéniciens jusqu'à la mort de Charles III, traduite de l'anglais d'Adam par P. C. Briand, Paris 1808, 4 Vol.

книжными червями, рассказывает нам историю Пиренейского полуострова, со времени его открытия финикиянами и до смерти Карла III. Особенно поучительной выходит под пером англичанина Адама роль Великобритании в сокрушении испанского могущества. В течение столетий Англия играла на антагонизме Франции и Испании, стремясь ослабить обеих, а ослабив Испанию, начала защищать ее, причем грабила у нее колонии. В так называемой борьбе за испанское наследство Англия руководила европейской коалицией из голландцев, австрийцев и португальцев — против Бурбонов, объединявших Францию с Испанией. Война велась якобы во имя наследственных прав австрийского дома на испанский трон. Попутно Англия захватила Гибралтар (1704 г.) — и какой дешевой ценой: отряд матросов взобрался на никем — в сущности, по причине „неприступности" — не охранявшуюся скалу, с которой Англия теперь владычествует над входом и выходом Средиземного моря. В войне за испанское наследство великобританские методы международного хищничества находят свое классическое выражение. 1) Союз против Бурбонов, объединявших Францию с Испанией, был союзом против главной европейской континентальной силы; 2) создав этот союз, Англия стала во главе его; 3) она терпела от войны менее союзников и получила больше их, не только захватив Гибралтар, но и обеспечив за собою, по Утрехтскому миру, первостепенные торговые выгоды в Испании и в ее колониях;

4) ослабив объединенную Испанию — Францию, т.-е. достигнув главной цели, Англия немедленно же предала интересы австрийского претендента на испанский престол, признав Филиппа Бурбона, внука Людовика XIV, королем Испании под условием, чтобы он отказался от всяких прав на французский трон. Аналогии с нынешней войной напрашиваются сами собою. Кстати, пусть определят философы социал-патриотизма, кто в англо-испанской войне был нападающей, а кто — защищающейся стороной...

В конце пятидесятых годов XVIII века Питт старший считал необходимым объявить войну Испании, в виду заключенного мадридским и версальским дворами секретного „семейного пакта", направленного против Англии. Английское правительство, однако, колебалось, и о причинах этого колебания эпически рассказывает почтенный историк Адам. „Еще не знали, — говорит он, — деталей семейного пакта; Англия была отягощена долгами; Испания не сделала ничего такого, что могло бы вызвать Великобританию на войну; надлежало, посему, уважать международное право и особенно великие интересы коммерции, а также солидную силу испанского флота". Эти слова могли бы показаться иронией по адресу Великобритании, если бы сам автор не был благочестивым англичанином. Мы видим, что еще задолго до Ллойд-Джорджа английские правители умели вставлять международному праву перо в надлежащее место.

*

В музее Кадикса сторож отпирает ключом запертую дверь: никто, очевидно, сюда не ходит. Сомнительный Ван-Дик. Сомнительный Рубенс. Несомненный Мурильо. Зурбаран. Его монахи. Его ангелы, показывающие крепкие весьма земные икры. Новая живопись гораздо слабее. Премированная в 1867 г. (?) в Париже „историческая“ картина, жалкая и лживая: недаром ее премировали эстетические авторитеты Второй Империи, лживой и жалкой.

Балаган вблизи пристани. Демократическая публика. Много портовых. На сцене две „певицы“ с фальшивыми сиплыми голосами. Безжалостность публики чудовищна. Та же потребность, очевидно, что и в бое быков: затравить. Мужчины улюлюкали, женщины хихикали, „певицы“ пели полуплача. Гигантские нужны домкраты, чтоб поднять культуру масс.

Рассуждения старика-сторожа в бараке Compania Transatlantica. „Войну начала Германия, а кончать не хочет Англия“. Это сказано не плохо.

XII.

ЕЩЕ РАЗГОВОРЫ, ЕЩЕ КНИГИ.

На вышке в парке Кадикса. Вечер. Чуть ветренно. Пальмы беспокойные. Белые дома с плоскими крышами и зубчатыми выступами. Мавританский город!

Море, темное, почти спокойное, но свинцовое в этот декабрьский вечер. Маяк мигает. Пальмы покачиваются. Чуть доносится рокот вод.

Море окружает Кадикс с трех сторон, даже более. И с каждой стороны оно разное, смотря по солнцу, направлению ветра и характеру берега.

Справа оно мягко ложится на песок, а слева за поворотом с размаху разбивается о стертую стену крепости и прибрежные камни.

Силуэты судов в сумерках. Двух- и -трехмачтовые парусные корабли, которые совершают путь в Америку и обратно, в один рейс окупая свою стоимость, да еще с избытком.

Немецкие и австрийские суда, запертые в этих водах с начала войны, заменяют квартиры своему экипажу. Они обросли неподвижностью.

Сегодня прибыл пароход „Инфанта Изабелла“ из Аргентины. Из-за войны там застой в делах, и испанцы возвращаются оттуда массами — без денег и без надежды заработать их. Пароходные общества нещадно грабят. На Нью-Йорк и Аргентину еще есть цены, но оттуда берут сколько хотят, т.-е. отбирают все, что есть. Сколько страшных дел, больших и маленьких, совершается под покровом войны.

Почему пассажирские пароходы бросают якорь далеко от пристани, так что подъезжать приходится на моторных лодках? Оказывается, чтоб избежать бесплатных пассажиров, которые укрываются до Канарских островов.

Опускается ночь. Вышка с железной оградой, как капитанский мостик над океаном. Пена вспыхивает в темноте. Ветер окреп. Гул и угроза. Скользят лучи маяка. Тьма и душистые морские брызги текут в воздухе. Все во влаге. Платье, палка, волосы. За поворотом тоже море, но спокойное, как зеркало, ибо в ограде берегов (бухта), и в нем отражаются, не колеблясь, огни ночного Кадикса.

Прибыли сегодня пачкой моряки с потопленных немцами судов. „Emilia“ шла на парусах из Опорто в Ласпельме, везла дерево для фруктовых ящиков. Собеседник был на „Эмилии“ капитаном, сын его — матросом. Нить рассказа переходит незаметно к сыну. Возле Las Palmas (Канарские острова) нагнала немецкая подводная лодка. Сигналы. Остановились. Немецкий офицер позвал рукою. Приблизились. Четыре немца с динамитом перешли на „Эмилию“,

забрали там манометр, портфель с бумагами и удалились, оставив динамит со шнуром. Экипаж „Эмилии“, перешедший на лодки, сфотографировали. Одним словом, все честь-честью.

— Хорошее судно, капитан, очень крепкое,— сказал немецкий офицер.

Раздался взрыв, но „Эмилия“ осталась почти невредимой. Тогда по ней дали 25 выстрелов и потопили.

Немцы хотели взять в плен капитана, но тот сказался больным и его отпустили вместе со всем экипажем. Стряслась эта беда на 6-й день пути, когда уже видели землю. Из Las Palmas экипаж (17 человек) на судне „Кадикс“ прибыл сюда.

Тут же в зале гостиницы группа моряков с затонувшего вчера португальского судна. Совсем недалеко от Кадикса, в 70 милях, оно столкнулось с итальянским судном, которое на всех парах уходило от немецкой подлодки. Все спаслись (испано-негры, испанцы, негры). Из разговоров с португальскими моряками.— Воюете?— Заставили.— Кто идет на войну, тот готовится к ударам,— это такая португальская пословица. А мы не готовились. Англия и Франция заставили... А как французские газеты врут о португальском „энтузиазме“!

Моряки рассказывают, как несколько дней тому назад они наблюдали у северных берегов Испании потопление колумбийского парусника, который перевозил лошадей и скот. Люди спаслись, скот погиб. Жалко, жалко было тонущих лошадей и быков.

И опять разговор возвращается к „Эмилии". Сын капитана показал немецкому офицеру, где сахар, масло, сухари... Немцы забрали все, а испанцу офицер дал коробочку папирос. Первый выстрел с подлодки был холостой — остановить только. Это несколько успокоило моряков, которые в первый момент перепугались до смерти, считая, что пришел последний час. После выстрела сразу повернули, все показывали и всячески помогали уничтожению своей „Эмилии"

— Немец все повторял: хорошее судно, капитан. хорошее судно.

— Насмехался?

— Нет, зачем: просто, как моряк к моряку говорил Корабль у нас был действительно хороший, исправный, совсем новый...

— Говорят, что около Канарских островов три больших подлодки. Но пришедшим туда после нас греческому и северо-американскому судам тамошние власти говорили, что „Эмилия" разбилась о скалы, чтобы не портить коммерции.

*

Ученый французский морской офицер Де-Мерлиак издал в 1818 г. книгу под названием: „О свободе, морей и торговли, или историческая и философическая картина морского права"*). Книга насквозь

*) De la liberté des mers et du commerce, ou Tableau historique et philosophique du Droit maritime, par Mr Gilbert de Merlhiac, lieutenant de vaisseau, membre de la Société des Sciences de Paris. Paris 1818.

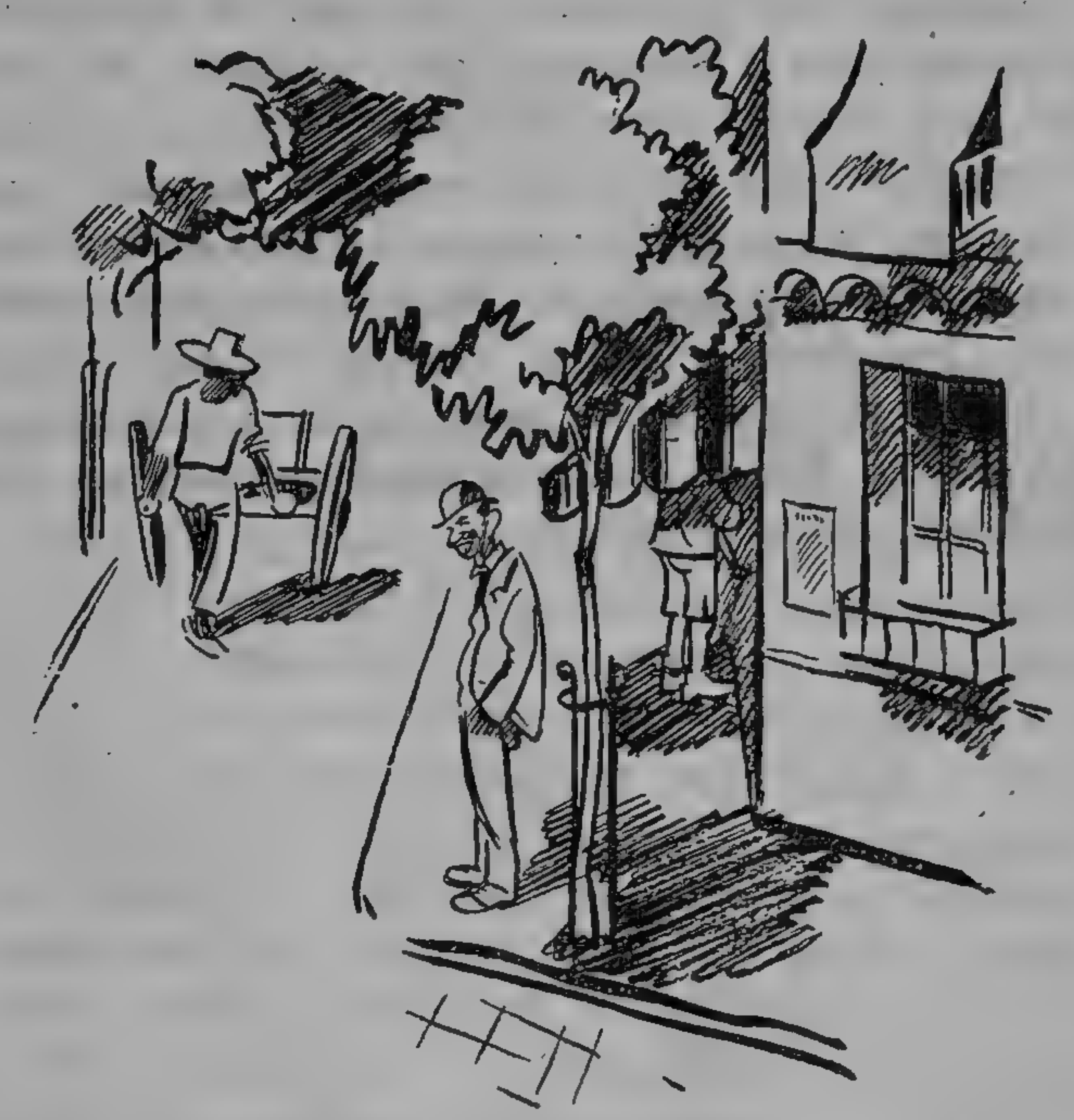
реакционного автора, жестоко осуждающего не только якобинцев, но и директорию, читается с большим интересом в свете нынешней мировой войны. Спустя каких-нибудь три года после того, как коалиция, под руководством Англии, вернула трон французским Бурбонам, автор-легитимист делает следующее признание: „К англичанам можно применить то, что Маккиавелли говорил о венецианцах: их мирные трактаты еще более гибельны для их соседей, чем подвиги их армий". По поводу того, что англичане всеми средствами блокады преграждали подвоз съестных припасов во Францию во время войны с революцией и Наполеоном, Де-Мерлиак пишет: „Я полагаю, что бичи, подобные чуме и голоду, находятся в руках бога: он один может обрекать им народы. И я думаю, что делать из этих бедствий оружие войны значит действовать против всех законов, божеских и человеческих... Стремиться продлить у целого народа, в обширном королевстве, ужасы голода, — это нужно признать наиболее чудовищным злоупотреблением, какое можно сделать из силы; это значит попрать международное право и долг человека и христианина: таково, однако, было по отношению к нам поведение великой Британии... Иначе, какова была бы разница между европейцами и каннибалами Южного моря".

Сегодняшние Де-Мерлиаки говорят совсем иным языком о той блокаде, которой Великобритания, при содействии Франции, подвергает Германию. На вопрос о разнице между европейцами и африканскими

каннибалами приходится ответить, что просвещенные европейцы располагают такими орудиями каннибализма, о которых несчастные людоеды Африки не могут и мечтать.

*

Ко мне в гостиницу зашли два испанских синдикалиста. Один говорил чуть-чуть по-французски.



Толковали о войне, о высылке, об испанской полиции. Синдикалисты жаловались, что испанец плохо поддается организации. На том простились.

По их, совсем еще свежим следам ворвался ко мне шпик. „Они хотели денег?“ Я сразу не понял. Тогда он протянул лапу, стал делать хватающие движения пальцами, повторяя вопрос, брызжа слюною. Им владели одновременно две тревоги: приходили враги — он проглядел, — приходили за деньгами и может быть получили, а он не получил, он прозевал, он остался не при чем. Он был похож на ограбленного. Я прогнал его, объявив, что мне нет дела до того, сколько именно часов он согласен посвящать своим обязанностям, что впредь я буду выходить, когда найду нужным. Шпик маячит теперь перед окнами гостиницы и, сопровождая меня, соблюдает дистанцию. Он не посвящает меня более в тайны исторических памятников и собственной биографии. Мы с ним попросту не знакомы. Так разбилась одна дружба.

XIII.

8 декабря.

Сегодня здесь большой праздник — Inmaculada— Непорочной, покровительницы Кадикса и испанской армии, точнее, пехоты, — ибо Inmaculada почему-то специализовалась на инфантерии. По этому поводу вчера в двух казармах были закрытые бои быков.

Сегодня в церкви монсеньоре говорил об этапах испанской истории, доказывая специальное вмешательство Непорочной во все критические моменты. Результаты, однако, более чем сомнительные.

По поводу приверженности испанцев к католической церкви: — благочестие нимало не помешало однако, Карлу III в 1767 году беспощадно расправиться с иезуитами. В телегах их доставили со всех концов страны сюда, в Картахен, неподалеку от Кадикса. По пути они терпели жесточайшие лишения, никто не хотел их принять, многие из них вымерли. Из Кадикса их отправили прямехонько к святейшему отцу, в папскую область. Целью католичнейшего (tres-catolique) испанского правительства было загра-

бастать богатства ордена. Благочестие, как и благодушие прекращаются там, где дело заходит о чистогане.

Прибыл из Fernando Poo (на западном берегу Африки, подле Мозамбика, недалеко от Канарии,— это остаток испанских колоний) пароход „Cataluna." По пути пять человек умерло от желтой лихорадки (умерших — в воду), 42 больных на борту. Судно более походит на госпиталь. В Fernando Poo теперь много немцев из Мозамбика. Население увеличилось с 7.000 до 10.000. Местность нездоровая — лихорадки. Чиновники и солдаты получают двойное жалованье.

Эпидемии вообще свирепствуют на пароходах, которые теперь не дезинфицируются: время дорого. Время дороже пароходов. Не только медицинский но и технический досмотр не ведется. Вчера потонул возле Канарии большой торговый пароход общества Penidion. Спасено 18 человек экипажа, остальные (человек 20) благополучно погибли. Компания вернет себе стоимость парохода (застрахован!), а людей и чужой товар выпишет в безубыточный расход. Война упрощает отношения и расчеты.

*

Вот я видел сарсуэллу в новом большом театре. Труппа приехала из Севильи на гастроли. Совсем хорошая труппа. Сарсуэлла, о которой сообщают все путеводители, как об испанской национальной

особенности, всего-на-всего оперетка, только короткая и немножка наивная, даже при не наивных фабулах. Королева выбирает себе фаворитов, а по истечении месяца предает их казни, — не египетская королева, а испанская, которая носит модные наряды. Министры — они очень хороши, особенно военный, с большим животом и перьями на треуголке — шокированы таким образом правления и хотят подать в отставку. „Мы, монархисты, — поют они речитативом, — но в конце концов так можно предпочесть республику". Королева выбирает на сей раз садовника, а капитан, придворный кадет — очень приятный тенор, — любит ее безнадежно. Но и королева томится тайно по капитану. Садовник уходит восвояси (бедняга уже тосковал по своей голове), а королева сочетается с капитаном и отказывается от престола, что доставляет и ей и всем большое удовольствие, — особенно военному министру в красном мундире и с бабьим животом. Есть речитативы, диалоги, стихи, романсы, дуэты, скоморошество и лирика — словом оперетка, примитивнее парижских и в очень не грубом исполнении. А, главное, коротко. За вечер дается три, иногда четыре función, представления. Можете взять билет на одно представление или на все четыре. Просидев час в театре, уходите без оскомины и без досады. Захочется ли вернуться, это уж вопрос особый.

XIV.

16 декабря. Суббота.

В борьбе с Наполеоном Кадикс сыграл большую роль: здесь укрылись кортесы, политическое средоточие национальной обороны. Тогдашний прусский представитель в Мадриде, полковник Шепелер, в своей „Истории испанской и португальской революции“*), такими высокопарными словами говорил о значении Кадикса: „Как система мира связана с Сириусом, так судьба Европы и, может быть, всего земного шара связана с Кадиксом... Надежды европейских тронов и народов перенесены в уголок крайнего запада“. В то самое время, как кортесы назвали городок под Кадиксом именем Сан-Фернандо, в честь своего короля, этот последний всячески угождал захватившему его в плен Наполеону, чурался народного движения, пил за великого импе-

*) Histoire de la Révolution d'Espagne et de Portugal, ainsi que de la guerre, qui en résulta par Mr de Schépeler, colonel et cidevant chargé d'affaire de Prusse à Madrid. Traduit sous les yeux de l'auteur. Liège 1831.

ратора, и стремился породниться с ним. В конце концов, Фердинанд вместе со своим ничтожным отцом „добровольно“ отрекся от престола, выговорив себе от Наполеона приличную пенсию. Опасаясь за свою драгоценную жизнь, Фердинанд призывал верных испанцев оставить его в покое, признать Жозефа Бонапарта королем и не предпринимать никаких безрассудных шагов сопротивления. И вот этот пленник Наполеона, этот униженный содержанец, которому стоявшие за кортесами народные массы вернули трон против его собственной воли, начинает свою королевскую карьеру с того, что обвиняет кортесы в узурпации своих наследственных прав. С пути, из Валенсии, не доехав даже до Мадрида, он громит узурпаторов, которые осмелились назвать армию и государственные учреждения национальными, тогда как им надлежит называться королевскими. Он отказывается признать конституцию 1812 года и приступает к разгрому либералов, доставивших ему трон. Монархические историки находят для этой политики поистине великолепное оправдание: „как,— восклицают они по адресу либералов,— вы хотите ограничить власть того самого монарха, ради которого страна, под руководством кортесов, пролила столько крови!“

Отметим мимоходом, что условия, которые навязали Кадиксу в эпоху Наполеона исключительную политическую роль, дали в то же время новый толчок его упадку. Под влиянием революции стали отрываться от Испании ее южно-американские владения. Между тем, экономическое значение Кадикса

целиком опиралось на колониальное могущество, старой Испании.

Дальнейшая история короля Фердинанда не менее поучительна. Он правил самовластно до 1820 года когда в испанской армии вспыхнуло революционное восстание, встретившее сочувствие народа и охватившее мадридский гарнизон. У министров и у двора душа, как полагается, в таких случаях, ушла в пятки. Фердинанд первым делом выпускает манифест, в котором обещает народу смягчение налогов, предлагает выражать свои „мнения“ о нуждах и пользах отечества и в то же время обрушивается на крамольников, — ни дать ни взять наш Романов в 1905 году. Дело это было 3 марта 1820 года. Но манифест запоздал, движение растет, — и уже 6 марта Фердинанд приказывает созвать в возможно непродолжительном времени кортесы, не определяя, однако, какие именно, с какими полномочиями и в какой срок. Наконец, на следующий день он издает новый манифест, в котором говорится дословно: „Поелику воля народа повсеместно обнаружилась, я решился присягнуть конституции, изданной генеральными и чрезвычайными кортесами в 1812 году“, т.-е. теми самыми кортесами, которые доставили Фердинанду против его собственной воли трон, и которые он немедленно затем разогнал за узурпацию его „наследственных прав“. Мудрено ли, если почтенный испанский автор двухтомной истории Фердинанда, впрочем, предусмотрительно скрывший свое имя, жалуется и негодует на то, что ре-

волюционеры обнаружили „грубое недоверие к намерениям короля в тот именно момент, когда его величество дал наиболее яркое доказательство своей благожелательности“.

Лживость и подлость правящих проявляется, в конце концов, в довольно однообразных формах. Взять ли роль Англии в войне за испанское наследство, или роль испанской монархии (а также и либеральных буржуа) в борьбе с наполеоновским владычеством — казалось бы, эти классические уроки должны бы навсегда застраховать народы от дрянного легковерия. Ведь все эти грабежи, насилия, обманы, вероломства уже проделывались и разоблачались,— и тем не менее они повторяются каждый раз в более широких масштабах. Чтение многих глав человеческой истории нередко порождает такого рода рецидивы возмущенного рационализма. Но суть-то в том, что народы очень малому учатся из истории — уже по тому одному, что не знают ее. Она доходит до них—поскольку вообще доходит—в искажении школьной легенды, национальных и церковных праздников и в виде вранья официозной прессы. Те исторические факты, которые должны бы просветлять народы, становятся, наоборот, орудием их дальнейшего одураченья. Пока что, история делается эмпирически. В отличие от техники, здесь еще почти нет массового накопления опыта. Марксизм есть великая попытка использовать уроки истории для того, чтобы сознательно руководить ею. Но марксизм есть пока еще орудие будущего.

На изложенном выше история Фердинанда не закончилась. Дальше развернулась едва ли не самая красочная глава. Фердинанд прославлял в официальных воззваниях конституционный режим, а в то же время организовал на севере с помощью Людовика XVIII абсолютистские банды. Однако правительственные войска разгромили роялистов. Но Священный Союз не дремал. „Успокоение“ Испании было им в конце 1820 года возложено на Францию. Россия, Франция, Австрия и Пруссия обратились к испанскому правительству с грозными нотами. Англия вильнула хвостом и получила в обмен за этот „жест“ от Испании крупнейшие материальные выгоды. Вмешательство держав Священного Союза было тем гнуснее, что революция 1820 года только восстановила конституцию 1812 г., в свое время признанную всеми державами, в том числе и нашим „благословенным“. Но тогда, в 1812 г., Испания нужна была против Наполеона... 6 апреля 1823 г. французская армия выступила в поход, а 23 мая группа испанских грандов уже подносила благодарственный адрес герцогу Ангулемскому, вошедшему во главе французских войск в столицу Испании. Фердинанд находился в это время с кортесами в Севилье. Во все критические моменты, когда нужно было принять решение или ответить на прямой вопрос, этот трус обнаруживал у себя „ужасающий припадок подагры“. Это повелось еще с первой революции. Но в Севилье ему уклониться не удалось,— он оказался вынужден подписать манифест против чужестранной интервен-

ции. „Они называют военным возмущением — говорит манифест о Священном Союзе — реставрацию конституционной системы в Испанской империи. Они дают свободному приятию имя насилия и моему присоединению — название плена“. Из Севильи кортесам пришлось переехать в Кадикс, как в пункт наиболее надежный по своим географическим условиям. Однако французская армия взяла Кадикс уже 28 сентября. Организатор революции генерал Риэго сражался до конца, переезжал из города в город, был разбит, схвачен крестьянами, привезен в Мадрид и повешен. Фердинанд VII вздохнул полной грудью. Уже знакомый нам испанский историк-лизоблюд пишет по этому поводу: „неотвратимые законы Провидения свершились, и Фердинанд VII вступил в полноту своих прав“.

Эти пятнадцать лет политической истории Испании (1809—1823) полны поучительности. Но народы, и в частности испанский, учатся медленно, тяжело и нуждаются время от времени в повторении пройденного. Нынешняя эпоха империалистской войны преподаст народам, нужно думать, незабываемые уроки. Во всяком случае все, что было, бледнеет перед тем, что есть.

Для памяти. Историк испанской революции рассказывает о политиках, которые за пять минут до победы народного движения клеймили его, как преступление и безумие, а после победы высовывались вперед. „Эти ловкие господа, — продолжает

историк,— появлялись во всех последующих революциях и кричали громче всех. Испанцы называют таких ловкачей panzistas“— от слова „брюхо“ (от этого же слова происходит прозвище нашего старого знакомца Санчо-Панса). Название (брюхолюбы?) трудно переводимо, но трудность тут лингвистическая, а не политическая. Самый тип вполне интернационален.

XV.

В БАРСЕЛОНУ И В БАРСЕЛОНЕ.

В Кадиксе приготовления к рождеству в разгаре Соблазнительные окна магазинов, у которых застаиваются босоногие чистильщики сапог. Индюшек крестьяне привозят на ослах со всех сторон. Раскормленные индюшки качаются на ослиных ребрах в особых клетушках, похожих на опрокинутые летние шляпы.

Пароход на Нью-Иорк отходит из Барселоны 25 декабря и заходит в течение нескольких дней во все восточные и южные испанские порты, в том числе и в Кадикс. Какой смысл семье приезжать в Кадикс по железной дороге, когда все мы можем сесть в Барселоне на пароход? Но для этого мне нужно попасть в Барселону. Пустят ли? Барселона — не только порт, но и центр рабочего движения. Новая серия хлопот — телеграмм, писем, телефонных переговоров с Мадридом. Мои ходы шли через голову префекта и увенчались неожиданным успехом: мадридские власти разрешили выехать в Барселону.

Префект, который из amigo сделался врагом, прислал мне через шпика счет на 17 песет 60 сантимов за телеграмму, которую он якобы давал в связи

с моими хлопотами. После крушения надежд получить в знак дружбы более серьезную мзду amigo решил извлечь из этого шаткого дела хоть маленькую пользу. Я уплатил без разговоров. В Барселону выехал 20 декабря с двумя шпиками, честь-честью. Ехать через Мадрид, дорога знакомая.

21 декабря, утром, в 8 часов, прибыли в Мадрид. На вокзале встретил нас одноглазый шпик. Вот не думал его снова увидеть. За ранним часом он был трезв и не проявлял энтузиазма. Мои ахенты (кадикские) очень хотели остаться на день в Мадриде. Я согласился в надежде увидеть Депре. Но он уже уехал в Париж. День оказался почти ни к чему. Мадрид мокрый. Огромная кофейня битком набита не то дельцами, не то бездельниками. Знакомые улицы. Парламент. Зайти разве поблагодарить республиканцев за запрос? Ох, испугаются. Здание кортесов с шестью коринфскими колоннами, двумя бронзовыми львами и треугольником символической скульптуры над входом, построено было в середине прошлого века. Тогда оно могло казаться внушительным, по крайней мере, в Мадриде, теперь кажется провинциальным и здесь. Новые здания банков куда импозантнее! Снова по музеям и галлереям. Снова гляжу с интересом, не чуждым удивления, зурбарановских рыцарей духа в монашеском облачении. В Академии (Alcala, 13) писанный Гойа портрет „Le prince de la Paix“ знаменитого фаворита,— в шитом мундире сидит мужчина в соку, спально-вельможный, потемкинский тип. В музее del Prado портрет Ферди-

нанда VII, писанный тем же Гойа. Гнусный и жалкий оригинал не стоил этой кисти. Бегло прохожу по музею нового искусства (Museo del Arte moderno). Кадикские шпики стучат каблуками за спиною.

Вокзал. Новый маршрут: Мадрид — Сарагосса — Барселона. Новые шпики.

Сарагосса — две „знаменитые“ осады во время наполеоновских войн! Революционный генерал Палафос. Со знаменитыми городами то же, что со знаменитыми людьми: при личном свидании они разочаровывают. Плохой кофе на вокзале. А когда выйдешь на вокзальный двор в рассветных сумерках,— грязь, телеги с мешками, шум, дым из-за соседней крыши, сиплые утренние голоса, багровая полоса на небе за крестом церкви. Это — Сарагосса, т.-е. поверхностное от нее впечатление.

„Героическая Сарагосса учит нас,—читаем в старой книге, — что массы камней, какими являются наши великие города, представляют собой лучшие укрепления и могут быть защищаемы еще более убийственно“. Это надо усвоить всем революционерам. „Сарагосса остается навсегда блестящей точкой в истории... Если уход из Москвы был велик на манер скифов, то защита Сарагоссы превосходит этот подвиг настолько, насколько бой превосходит в благородстве пожар и бегство, — хотя бы последние достигали иногда более значительных целей“. Что обречение Москвы огню было героизмом на скифский манер, это верно. Но рассуждения о нравственном превосходстве одних методов войны над другими звучат

чистейшим дон-кихотством для поколения, умудренного опытом нынешней бойни.

Степь неприютная. Пустыня. Холмы. Рыжая глина, песок, камни, кремень. Села — камень и глина на глине и камне — и все того же бурого цвета.

21-го, около 12-ти дня. Эбр очень интересен, куда живописнее Гвадалквивира. Быстро текут буроватые воды, образуя маленькие водовороты, которые сшибаются друг с другом.

Ближе и ближе к Средиземному морю. Местность оживленнее. Оливковые деревья. Огород зеленеет — 22-е декабря!

Барселона, столица Каталонии. Большой город испано-французского склада. Ницца в сочетании с фабричным адом. Много дыма и гари в одной части, много фруктов и цветов — в другой. Вынужденный визит в префектуру. Здесь меня так же бессмысленно задержали, как и в префектуре Мадрида, в самом начале этой истории. В голодном и злобном оцепенении просидел я несколько часов. И когда выяснилось, что мне нечего делать в префектуре, и меня отпустили в сопровождении двух атлетов так называемой „анархистской бригады“, я, чтоб отвести душу, отправился на телеграф и послал депешу графу Романонесу: „По приезде в Барселону был задержан в префектуре три часа без возможности умыться и поесть. Объясните мне, чего от меня хочет ваша полиция?“ Романонес, разумеется, ничего не объяснил, да и вопрос мой имел риторический характер.

Уже знакомый нам старый дипломат Бургоэн такими словами характеризует каталонцев: „Тут пахнет



добычей — вот слова, которые приводят каталонца в движение. Дух торговли овладел этой нацией, не ослабляя, однако, ее упорства... Каталонец — привиле-

гированный контрабандист Испании; все, что его фабрики не могут произвести, он покупает за границей и ввозит в свою страну под своей маркой... „Это каталонец“, говорит испанец, когда хочет охарактеризовать человека, не останавливающегося ни перед какими средствами в погоне за деньгами... Каталонцы не утеряли еще воспоминания о своих старых обычаях. Призрак древней свободы живет в их головах. „Каталония и сейчас остается самой предприимчивой частью Испании. Барселона — индустриальный город современного типа. В то же время Каталония и по сей день сохранила свои сепаратистские тенденции. Исторические традиции живучи не просто вследствие консерватизма человеческой психики, а потому, что, сохраняя привычную форму, они незаметно обновляют свое содержание.

Приказ о моем аресте, как оказывается, разослали сгоряча по всем городам и весям Испании. По крайней мере, у одного барселонского шпика из бригады анархистской — т.-е. бригады для борьбы с анархистами — я видел свою фамилию в списке разыскиваемых: он сам показывал, чтоб удостовериться, так ли. Фамилия была переврана почти до неузнаваемости.

Прибыла семья. Осматривали Барселону. Мальчики одобряют море и фрукты. Выезжаем 25-го, т.-е. в первый день рождества.

XVI.

В АМЕРИКУ.

Разговор с шефом анархистской бригады (он пояснил мне с достоинством: и социалистской, хотя в титуле это и не значится).

— Вы не будете, надеемся, высаживаться в испанских пристанях?

— Нет, буду: у меня там почта.—Хорошо, хорошо, за вами будут только следить. — Это уж ваше дело.

Но в Валенсии не выпустили. Сыщик с шарфом на шее и двое полицейских плотно встали у мостков. „Приказ — не пускать". Я вызвал шефа. Он очень почтительно, с шляпой в руках, объяснил то же самое: приказано не пускать. Я ответил, как полагается, что уступлю только силе, и вышел на мостки, где полицейские почти ласково остановили меня. Отправил, по примеру прошлого, телеграммы: префекту Барселоны (приказ исходил от него), шефу „бригады", редакции барселонской „Солидаредад обреро" („Рабочая солидарность") — и в Мадрид: министру внутренних дел, „El Liberal", „El Socialista",— протестуя против учиненного на пароходе скандала. Шеф бри-

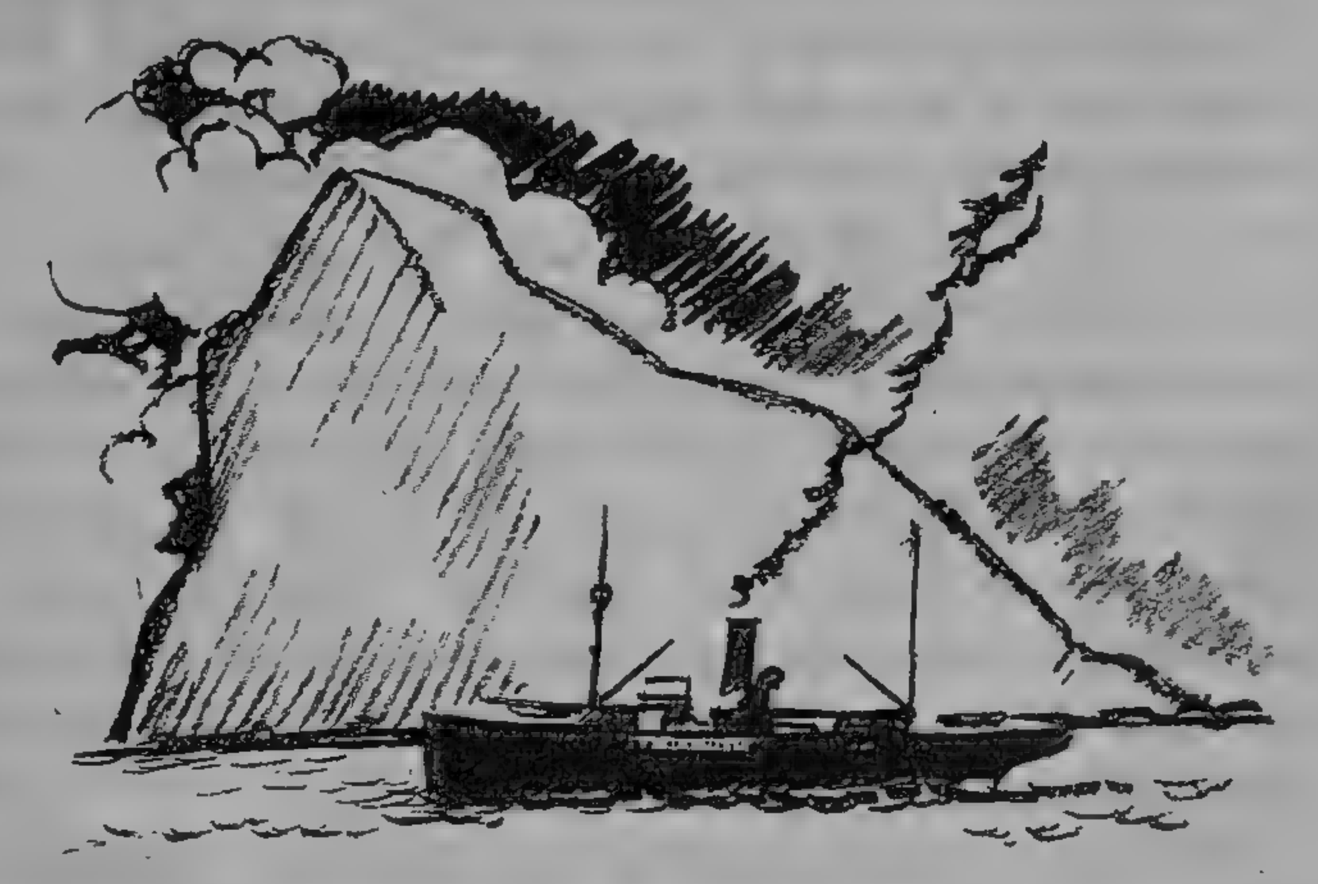
гады говорил мне в Барселоне: „никто на пароходе не будет знать“ (о слежке). Между тем, все пассажиры заинтересовались, шушукались, следили за мной, передавали глазами друг другу,— пришлось объяснять в чем дело. Слово Циммервальд пошло по устам.

В Малаге повторилась та же история. Молодой сыщик, которому указал меня глазом пароходный служитель, заявил, что приказано не пускать. Я потребовал у него документ и записал фамилию — „на всякий случай“. На какой собственно случай, сказать затрудняюсь.

На палубе, при тусклом свете лампы, не моя рук, испанский доктор смотрел глаза пассажирам третьего класса, подворачивая им веки. Одного сейчас же вернул. Трахома! Нью-Иорк не примет. Америке нужен здоровый рабочий скот.

31 декабря 1916 года. С субботы на воскресенье, в семь часов утра — между Малагой и Кадиксом — пароход внезапно остановился перед какой-то горой. Я не знал, что это, когда глядел через иллюминатор. Оказалось: Гибралтар. Гора, как гора, окруженная зданиями и гирляндами пушек. Вошли в бухту Алжезираса. Один из пассажиров, художник-француз, человек вящшей любознательности, насчитал 65 английских военных судов. Великолепный итальянский угольщик ждал инспекции, как и мы. Подошел маленький катерок, на котором торчали три английских офицера, и босой матрос ковырял пальцем в носу, забыв о достоинстве Великобритании. Спустили веревочную

лестницу, офицеры поднялись наверх, пожали руку испанскому помощнику капитана и полезли на капитанскую рубку наводить ревизию. Минут через десять, в течение которых матрос успел обуться, благополучно отбыли. Но мы оставались в алжезирасской бухте еще часа два. Пароход наш, не спуская якоря, шатался из стороны в сторону, как пьяный. С одной



стороны гора, с другой — белые здания Алжезираса. Было такое ощущение, что бессильно треплешься в стальных тисках. Пушки с гибралтарской скалы и военные суда замыкали нашу испанскую щепу, как клещи. За спиной в утренней дымке горы Атласа — Африка!

„Монсерат", пароход наш, ужасная дрянь,— старье, малоприспособленное для плавания за океан. Но испанский флаг есть все же флаг нейтральный, значит снижает число шансов на потопление. По этой при-

чине испанская компания берет дорого, размещает плохо, кормит того хуже.

Пароходная публика сплошь из „уставших от Европы“. Без крайности ныне никто не поедет, разве что попросят.

Француз-художник, с женой, девочкой Алис и стариком отцом. Они, включая и старика, первыми откликнулись почему-то на слово Циммервальд. Молодой серб с женой и приятелем — едут в Америку до конца войны. Не знают ни одного языка, кроме сербского. Три американца, два молодых, третий — поношенный — что-то среднее между „джентльменами“ и проходимцами. В курительной комнате они кладут ноги на стол или по одной ноге на кресло и, испаряя алкоголь, разговаривают о Hacienda (испанское министерство финансов), песетах, Мексике, ценах, Португалии, выражаются намеками, смеются громоподобно, но одним горлом и губами, не меняя выражения лиц. На редкость гнусное трио!

Француз, посредственный шахматист,— шахматы на пароходе в большом ходу,— но „лучший биллиардист“ во Франции: зарабатывал в Париже 100 франков в день на биллиарде,— что будет в Нью-Иорке, неизвестно. Зачем же он едет туда? Неловкость во всей группе. Зачем? Зачем? Условия... эта проклятая война... А, понимаю: Дезертир! Публика первых двух классов сразу освещается в моих глазах новым и — каким убедительным светом: это в большинстве своем патриоты, которые любят жить за счет своего отечества, но не согласны умирать за

него. Пароход дезертиров! Отсюда их приватный интерес к... Циммервальду.

Бильярдный маэстро рассказывает головокружительные истории о бильярдных игроках. Целый особый мир страстей и карьер. Такой-то выгонял 300 франков в день. Такой-то заработал и „проел" восемь миллионов. Да, да, восемь миллионов. Испанский инженер, полиглот, подружился в Америке с русским офицером-эмигрантом, изучает русский язык, возвращается в Филадельфию. Другой инженер, еврей из России, офранцузившийся, т.-е. переменивший подданство и впитавший наиболее отравленные газы французской цивилизации, богат, глуп, груб с пароходной прислугой.—Явно дезертирует из второго своего отечества. Бельгиец написал книгу о сахарном производстве и знает немного китайский язык. У него лицо пастора, но порочного. Происхождения явно фламандского, но по культуре и симпатиям — валлон. Когда не должен будет больше добывать средства к жизни,—так он рассказывает,—то займется созданием нового языка. Эсперанто его не удовлетворяет. Новый язык необходим; ни в одной нации он не находил до сих пор достаточно читателей для своих книг. Раздел Бельгии, по его словам, был бы выгоден для всех и мог бы ускорить конец войны. Несомненный дезертир. Один из пассажиров, очевидно, нежный семьянин, разливается на тему о том, что он „хотел" служить во что бы то ни стало, но жена не хотела, а теперь он испытывает угрызения совести.—Тут много таких, которым жены и

мамаши помешали служить и которые испытывают угрызения совести перед обедом.

Дама-испанка, за которой, с момента ее появления на пароходе, ухаживают все незанятые джентльмены первого класса и некоторые — второго.

Прислуга из Люксембурга у французской семьи, единственная вполне привлекательная человеческая фигура. Молодой грек с сигарой и перстнями. Молодой мулат с булавкой в галстухе. Испанская гувернантка с болезненной девочкой. Пять-шесть попов и попиков разного возраста, один француз, потоньше, остальные, кажись, все испанцы, попроще. Ведут пропаганду среди детей. Дали старшему мальчику благочестивую картинку после того, как сыграли с ним в шашки.—„Детей полезно в пути подучить английскому языку, чтоб облегчить им первые дни в Америке". И святые отцы занимаются с детьми по святым текстам.

Труднее всего разобраться в пассажирах третьего класса. Эти лежат в тесноте, двигаются мало, мало разговаривают, ибо мало едят,—угрюмые, плывущие от одной нужды, злой и постылой, к другой, окруженной пока неизвестностью. Америка работает на воюющую Европу и нуждается в свежей рабочей силе, только без трахомы, без анархизма и других болезней. А сколько десятков тысяч испанских рабочих перешло на работу в обезлюженную Францию...

XVII.

Мальчики в возбуждении: — Знаешь, кочегар здесь очень хороший. Он репюбликан (вследствие непрерывных перебросок из страны в страну, из школы в школу, они говорят на некотором условном языке).—Республиканец, да как же вы его поняли?— Он все нам хорошо объяснил. Сказал Альфонсо, а потом так (жест прицела из ружья): — паф-паф.— Ну, значит действительно республиканец. Мальчики тащут для кочегара малагу (сушеный виноград) и другие привлекательные вещи. Они нас знакомят. Республиканцу лет двадцать и насчет короля у него, повидимому, взгляды вполне определенные.

Туго набитый людьми пароход открывает детям поле совсем необычных наблюдений. Они по нескольку раз в день делятся ими и нередко поражают неожиданностями мысли и языка.

„Она женатая, а со всеми делает влюбление“,— говорит старший про испанку, которая оказывается австриячкой, замужем за французом, и на которую они натыкаются во всех укромных углах парохода. Про француза-художника спрашивают: —„Зачем у него

два кольца: одно женательное, а другое какое?“ Про французскую даму:—„Она только браслетится и кольцетится“. Эти выражения могут показаться выдуманными. Но они записаны буква в букву. С католическими попами мальчики играют в шашки и поддавки, но религиозные атаки выдерживают стойко. С республиканцем в кочегарке живут душа в душу.

1 января 1917 года. Все на пароходе друг друга поздравляли с новым годом и предаются размышлениям о новом свете по ту сторону океана.

В результате ли телеграмм из Малаги или по иным причинам, но в Кадиксе позволили съехать на берег. Вез молодой лодочник, оказался немец, по профессии мясник, два года в Кадиксе, пытался несколько раз тайком пробраться на пароход, предлагал до 50 песет за укрытие, ничего не вышло. Не хотят везти в Америку немца, да и только, боятся английского дозора.

На пристани старые знакомые, на первом месте потомок гранда и почитатель энциклопедиста Маура. Последний визит Кадиксу. Приморский бульвар. Улица герцога Тетуан, с окнами игорных клубов. Памятник Морету. Английская сервесерия. Библиотека, где тихо работает книжный червь. Почта, откуда послано столько писем и телеграмм.

Возвращались вечером на парусной лодке. Море разыгралось в течение получаса. Вода хлестала справа и слева, обдавала спину и заливалась в ботинки. „Монсерат“ показался после этого близким и надежным.

На следующее утро. Покидаем через час последний испанский порт. Пароходик доставил группу новых пассажиров. На палубе его провожающие. Солнце печет прекрасно. Чиновники компании с бумагами. Шпик маячит на пристани.

Прощай, Европа!.. Но еще не совсем: испанский пароход — частица Испании, его население — частица Европы, главным образом, ее отбросы.



Новые пассажиры. Англичанин-гигант. Молодая и скорее привлекательная рожа. Широк в плечах. Ходит — шатается — в огромных туфлях. За ним увиваются два почитателя. Исповедует ницшеанские теории. Племянник Оскара Уайльда. Делает неглупые замечания. Профессия? Боксер, только под чужой фамилией. Но отчасти и французский писатель, по матери — француженке. О своих компатриотах по

материнской линии отзывается презрительно: Наполеона они не способны создать во второй раз. Их герой — возьмите Жоффра — честная посредственность. Они ударились в американизм вчерашнего дня. Америка же мечтает о Людовике XIV. Боксер прямо из Барселоны, где дрался с Джонсоном и был побит. В Кадикс ехал по железной дороге, чтоб избежать Гибралтара и английской ревизии. Этот, по крайней мере, открыто называет себя дезертиром: он создан для арены цирка, а не для поля брани.

— Видите, французский художник с фальшивой головой Иисуса? Это мой коллега. Он тоже дезертир, только у него папаша с миллионом. — Атлет знает английский, французский, немецкий, итальянский, древне-греческий языки (да как!), изучает испанский, занимается музыкой. Он очень оптимистически беседует о возможностях „работы“ в Америке с французом-биллиардистом, который оказывается сверх того и чемпионом фехтования.

Впервые узнаю пароходного кюрэ в этом весельчаке, в куцом виц-мундире над законченными округлостями тела, в синем форменном картузе над круглым, крепким, бритым лицом, с папироской в зубах и руками в карманах. Он производит впечатление шефа кухни, знатока в папиросах, винах и других вещах. По воскресным и праздничным дням облачается в рясу и служит мессу. Французский кюрэ со скромным ужасом глядит на его папиросу и колышащийся от хохота живот.

От Барселоны до Кадикса и от Кадикса далее, в течение первых восьми-девяти дней, погода стояла прекрасная: солнечная, ровная, по ночам душно, несмотря на открытое окно каюты. Это—в конце декабря и начале января. Испанское солнце, Гольфштрем!..

Опытные путешественники, заменяющие в дороге старожилов, предсказывали на послезавтра, потом на завтра резкие перемены в температуре воды и воздуха. Но на „завтра“ и на „послезавтра“ погода становилась еще лучше вчерашней, и опытные путешественники, с ссылками на помощника капитана и метр-д'отеля, утверждали, что это ненормально и что Гольфштрем оказывается шире, чем ему полагалось быть... Тем не менее, матросы натянули по бортам верхней палубы защитную парусину, к великому недоумению публики. Но когда проехали Новую Землю, погода дрогнула,—ветер, затем дождь, корабль закачало серьезнее, кое-кто перестал обедать. А дальше пошло все хуже. „Монсерат“ трещал и захлебывался. На палубе встречаются одиночки. Боксер качается и блещет афоризмами.

— Что такое океан? Сферическая пустота, наполненная взбунтовавшейся холодной соленой водой... Французский поэт назвал океан старым холостяком. Пусть так! Но от него мутит, тошнит и рвет.

Большинство пассажиров лежит вповалку.

Воскресенье, 13 января 1917 года. Въезжаем в Нью-Иорк. В три часа ночи пробуждение. Стоим. Темно. Холодно. Ветер. Дождь. Причалил к нашему почтовый

пароход. Оборвалась веревка. Столкнулся с нашим и чуть не расшибся. Крики. Светает. В порту, опустевшем за время войны, все же много судов. Серое небо над серой зеленой водой. Сверху каплет. Тронулись снова. Берег в тумане. Зимние деревья, портовые здания. Все предсказывает громадину, которая пока еще скрывается в сумерках туманного утра.

На этом Испания заканчивается.

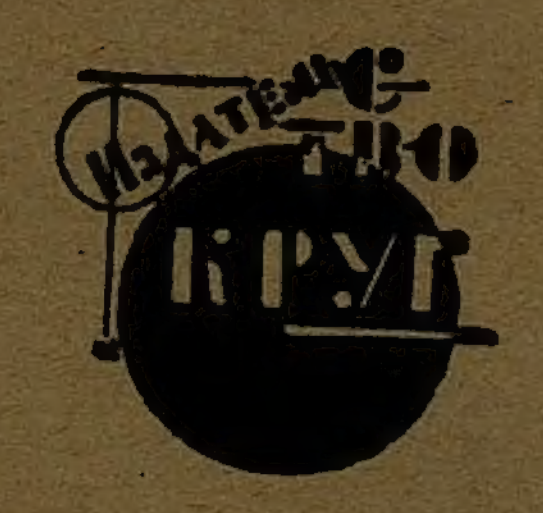




ОГЛАВЛЕНИЕ

1 руб.

1 р. 50 к.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:

МОСКВА, Первомайская ул., Кривоколенный пер., 14